

Григорий Кроних

~ П У Ш К И Н ~
ДНЕВНИК БУЛГАРИНА

ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН,
основанный на реальных событиях

Григорий Андреевич Кроних Дневник Булгарина. Пушкин

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70276786

SelfPub; 2024

Аннотация

Все со школьной скамьи знают, что Пушкин – солнце русской поэзии, а Фаддей Булгарин – его антипод. Но некоторые исследования показывают, что короткий период этих двух выдающихся литераторов связывала близкая дружба. Автор в форме романа реконструирует эти события периода 1826-1832 годов. Кстати, мало кто знает, что Булгарин придумал «гласность» и «деревянный рубль».

Содержание

Глава 1	6
1	7
2	12
3	20
4	28
Глава 2	32
1	33
2	36
3	50
***	52
4	55
5	64
Глава 3	78
1	79
2	85
3	93
Глава 4	102
1	103
2	108
Глава 5	113
1	114
2	119
3	124

Глава 6	130
1	131
2	134
3	142
***	144
4	148
5	151
Глава 7	155
1	156
2	170
3	177
Глава 8	187
1	188
2	196
3	201
4	211
Глава 9	220
1	221
***	223
2	227
3	239
4	241
Глава 10	250
1	251
2	260
3	267

4	272
5	283
Глава 11	293
1	294
2	307
3	316
Эпилог	318

Григорий Кроних

Дневник

Булгарина. Пушкин

Глава 1

Послесловие к разговору с генералом Бенкендорфом. Редакция «Северной Пчелы». Воспоминание о прошлом: дуэль с Кондратием Рылеевым, первый убитый враг, первый орден и первая любовь. Весть о смерти короля Саксонии и тройственном союзе против Турции. Журналист Сомов сообщает о приезде Пушкина. Бенкендорф и Пушкин. Истомина танцует, а Пушкин – премьер. Личное знакомство с великим поэтом.

1

Я вышел на крыльцо и захлебнулся. После жарко натопленного кабинета сырой майский ветер кажется заряжен лихорадкой, как пушка шрапнелью. Так и мечет в лицо. Прохожие льнут к стенам домов, караулят приподнятыми руками шляпы. Оставленный извозчик, наконец, тронул лошадей, подкатил. Запахнув плащ до горла, я сел в возок.

– Обратно едем, да поспешай!

Такой окрик обеспечивает обычную езду. А ничего не скажешь – так и заснет на облучке...

Зачем он так топит?

Сам ведь в глухо застегнутом мундире – и ни единой капельки, ни единого проблеска, кожа сухая, однако ж – румяная. Не болеет ли Александр Христофорович? Сколько ему лет – около 45-ти? По манерам – обычен, в разговоре скор так, что не всегда поспеваешь. Кстати, не было ли сказано чего лишнего?

Здоровье у генерала отличное, не то, что у брата Константина, тот моложе, а, сказывают, уже хвор. Тут перемен не ожидается. Хорошо ли?

Каждая встреча с Александром Христофоровичем – как экзамен. И не розог страшусь за неправильный ответ, страхи тут побольше. Точно ли ничего лишнего..? Я перебрал в уме весь разговор: дела литературные, дела цензурные...

вроде бы ничего. И тон генеральский не менялся – всегдашняя ласковость и отеческая опека. Как бы испытать, что за этим сухим румяным профилем, за этими внимательными, а иногда пустыми глазами? Куда они направлены в минуты этой пустоты? Какие планы там, в глубине, зреют?.. Испытать страшно, переэкзаменовки-то не будет. Слишком светский, политический человек Александр Христофорович. Такой улыбается-улыбается, а случись оказия – таким же ровным голосом пригласит: извольте в крепость, любезнейший Фаддей Венедиктович. Не сам, конечно... сам-то не решится, а высочайшего – испросит...

Жарко от этого. Вот от этого и жарко! От жерла разверстого! По склонам – гуляй себе, а на самом дымном верху – узкая дорожка: тут жар, а тут обрыв. Ступить в сторону – некуда. И поддержки искать негде. И участия. Тяжело так-то жить. Один друг на свете остался – драгоценнейший Александр Сергеевич, и тот далече. Делами персидскими занят, да и сам в немилости, тут не до поддержки. За него самого сердце щемит... Кто руку протянет? Греч? Пожалуй, что денег ссудит – на бегство, а потом еще – как с Кюхельбекером поступит...

Часто, слишком часто извив мысли тянет назад, в прошлое. Там навсегда остался верный друг Кондратий. Возврата нет, а как сладко представить, что Рылеев есть, а никакого Бенкендорфа – нет. А что, если бы переворот 1825 года удался? Ведь был у них шанс? Хоть мизерный? И тогда не бы-

ло бы Третьего отделения Его Императорского Величества Канцелярии, и самого Величества могло не быть... Свобода, равенство, братство? Или кровавое торжество изобретения доктора Гильотена? Французы хорошо помнят, что так оно и было – вчерашние товарищи наполняли гильотинные корзины головами врагов и друзей – поровну. Спасибо Императору – остановил вакханалию. И это в цивилизованной Европе, колыбели Просвещения! Что было бы у нас? С нашим российским размахом? Кто бы у нас сыграл роль великого Буонапарта? Нашелся бы новый Петр, умевший усмирить и направить народ русский? Или бы новое Смутное время началось – похлеще прежнего? Коли так, то была бы это не революция, а смена слабого царя сильным, то есть смена династий – Романовых на Пестелей? Как в той же Франции.

Как ни плоха монархия, а ничего лучше для России не придумано. Победы тогда Рылеев со товарищи – народ бы не понял: что случилось, кто правит? Ему нужен один – Помазанник Божий. Очень важно, что это за человек, что думает? Каким полагает свое предназначение? О чем мечтает? От чего мечты эти зависят? Кто их ему дал?

А каковы мечты Александра Христофоровича? О чем может мечтать правая рука государя? Впрочем, для человека честолюбивого и властного власти много не бывает. А кто правая рука самого Бенкендорфа? Мордвинов? Фон Фок? Нет, пожалуй, не Мордвинов и не даже фон Фок. А, допустим, был бы такой человек! Он бы влиял на Бенкендорфа,

тот – на царя, тогда бы вышло, что человек этот тоже на царя влияет. И тот, кто на этого человека влияние имеет, также через него бы влиял и на царя. Получается, что на самом могущественном человеке больше всего влияний и сходится? Забавная выходит арифметика. А если люди объединяются и действуют одной волей, одной идеей, их влияние возрастает, делается решающим. Переворот, в котором было замешано всего-то несколько сотен заговорщиков, не удался, но как России всю это всколыхнуло! Как царя ожгло, он теперь не то что на молоко дует, на ветер, на траву с подозрением глядит! Говорят, и во Французский театр потому не ездит, что его родина – корень свободомыслия.

Или это Бенкендорф пугает?.. Нет, его величество сам себе на уме, и никто ему свою волю не навяжет. А вот чуть повлиять – может, ведь тут важно не что сказать, а как, важно мнение. Чуть, да чуть, да еще чуток... Вода камень точит. Вот так только и можно у нас в России действовать. А на площадь солдат вести – те времена миновали. Этот урок все накрепко усвоили. Только стоил он дорого. Ведь никто о расстрелянии не думал, не ждал. Был ли Кондратий Федорович повинен смерти? Кто смерти другого искал, да не простого, а венценосного... Поднялась бы рука?

Не с того начинать надо было. Нынче бы они уже генералы были, министры, камергеры. Вот бы и улучшали, по мере сил, отечество. Теперь тем, кто остался – издалека начинать приходится: чуть, да чуть, да еще чуть-чуть... Добром надо,

примером хорошим... А рассказать о хорошем должны писатели наши первые, журналисты. И это уже делается. И я свое слово еще скажу – печатное слово, такое – что не вырубишь топором. В начале было Слово – не стоит забывать об этой силе... И слово мое еще отзовется в счастливых потоках благодарностию... Тем и жив буду.

2

Извозчик остановил коляску на Мойке, под стеной серого тяжелого дома.

Какова обманчива бывает внешность! За этой стеной, покрытой мелкими трещинами и глинистыми разводами вечной петербургской сырости, скрывается гнездо высокого искусства – плетения словесных кружев. Легких, но весомых, ежедневно меняющихся, но при этом оставляющих глубокий след в умах людей. Точное слово, ловко запущенный слух, отточенная до булатного острия колкость может изменить репутацию человека, мнение общества. Мало кто это понимает так отчетливо, как я. Второсортная ныне профессия журналиста в скором времени по значению обгонит высокомерных братьев-писателей. Газета быстрее, дешевле, ближе жизни, чем большинство романов. Начав, как писатель, я потерял в глазах общества, перейдя в журналисты. Но что бы я стоил сейчас без моей «Северной Пчелы»? Да и обратно путь не заказан – уже пишется, пишется Роман...

Ловлю себя на подобных рассуждениях и дивлюсь – что за манера? Думал уже, что старость подбирается со своими причудами: что толку все это городить в голове посреди бала, в присутственном месте, на крыльце какого-нибудь министра? Потом заметил, как слова эти ложатся в ненаписанные еще статьи и повести, и понял, что болезнь не старче-

ская, а профессиональная. Все лестничные марши, возки, за-
столя – пристанища самых разных мыслей и слов, колыбели
журнальных полемик, пьес и романов.

...Сотрудники знают мой обычай – как захожу в кабинет
– полчаса никого не пускаю, даже Греча. Один только нетер-
пеливый Сомов сунулся в коридоре, но я лишь кивнул и про-
шел мимо. Это правило выработано годами и следствие на-
блюдений над собой. Надумаешь так чего-нибудь в возке,
особенно газетное, отдашь сходу приказ, а потом выходит
нелепица или того хуже. Все придуманное на лестнице на-
добно еще подробно разложить, а потом уж в дело пускать.

Горячность – она всегда вредит. Но у кого-то с молодос-
тью она проходит, а у кого – сидит в крови, как у нас, по-
ляков. Вот и друг драгоценнейший – Грибоедов – на Кавказ,
а затем в Персию не по своей воле попал, а по горячности.
Принял участие в дуэли – секундантом, правда, ну да доб-
ром дело все равно не кончилось. На Кавказе, куда пришлось
уехать – почти в ссылку, он встретился со вторым секундан-
том, Якубовичем. Они дрались, и Якубович искалечил Алек-
сандру Сергеевичу руку. Но Грибоедов, благородная душа,
его простил.

А ведь был случай, когда и мы с другом-Рылеевым к ба-
рьеру встали. Вот что горячность-то делает! Кондратий Фе-
дорович очень молодецват был, никому усмешки не спускал,
а я по несдержанности глупой эпиграмму на его стихи со-
чинил, да еще напечатать обещал. Вот и дошло дело до пи-

столетов, да на шести шагах. В последний момент я сказать успел: «Кондратий! На войне мы себя испытали – нечего тут ребячиться. Представь: пройдет пять, десять лет. Эпиграмму эту ты забудешь, а то, что друга своего убил – не забудешь никогда. Я в тебя стрелять не стану так и знай», – и выстрелил вверх. Рылеев дернулся, словно кто его кнутом огрел, вскинул руку с пистолью, потом бросил и обнял меня. Но даже после этой истории Кондратий как-то в запале обещал мне на подшивке «Северной Пчелы» голову отрубить. Странно – про дуэль я почти забыл, а эту фразу с «Пчелой» часто припоминаю. Кто знает, что было, коли мятеж бы удался! Ну, да об этом думано-передумано... А через пять лет после дуэли несостоявшейся, в роковом 1825-ом, я Кондратию Федоровичу пригодился – последнюю службу сослужить взялся. С тех пор и несю потаенно.

Это потрудней будет, чем лоб под пулю подставлять. Даже отчаянный трус три минуты под дулом выстоит, а вот попробуй, как я – годами стоять. Такую закалку только на войне, в походах получить можно, когда бесконечные маневры и переходы изматывают до последней степени, когда на бивуаке, в поле, вместо подушки кладешь голову на тело поверженного врага! Вот от этого и учишься терпеть, не обращать внимания на житейские неудобства и даже тиранство. А воевать мне пришлось с 17 лет.

Из памяти вдруг всплыло почти забытое, зря я вспомнил про «подушку»...

1807 год, окраина деревушки под Гейльсбергом. Лошадь подо мной убита, я прячусь от колонны французских драгун позади крестьянского дома, за дровами, выложенными стеною. В руках у меня единственное оружие – подобранная лейб-казачья пика. Выглядываю из укрытия и вижу отставшего от колонны драгуна, остановившегося подтянуть подпругу. Я бросаюсь на него с пикой, он замечает, вскакивает в седло и направляет свою лошадь на меня. Всадник все ближе, он вырастает до невероятного размера. Здоровенный француз уже перегнулся из седла для удара, но я успеваю чуть раньше ткнуть его пикой в бок. От тяжести живого, судорожно дергающегося тела, руки мгновенно немеют, в ушах звенит. И одновременно животный жар бьет в голову – я жив! Огромный драгун сваливается с лошади и волочится, застряв ногой в стремях. Он ворочается, в его боку торчит моя пика, кровь льется толчками и сворачивается на дороге в пыльные шарики. Я снова берусь за древко, упершись ногой в бедро убитого Голиафа. Лезвие выходит с трудом, вытягивая наружу кусок розовых внутренностей... Я снова собираюсь в атаку – на лошади убитого и с этой отвратительной кровавой пикой наперевес...

Что не менее страшно: после этого, первого своего боя, я отломил у пики лезвие и положил в чемодан – на память! Молодчество и бездушие ребенка, не понимающего своих поступков, превратилось с годами в кошмар. Вина, отвращение к себе тогдашнему дрожью ударили по нервам, вызывая

приступ паники. Во рту образовался кислый привкус, словно я жевал трензель, его надо срочно заесть, забить, забыть.

Но в каждом звании, каждом сословии есть для человека счастливые минуты, которые приходят только однажды и зачинаются на всю жизнь. В военном звании, которому я посвятил себя с детства, – три высочайших блаженства: первый офицерский чин, первый орден, заслуженный на поле сражения, и... первая любовь. Для человека, изжившего свой век, все это уже не трогает сердца. Юноша в первом офицерском чине видит свободу, в первом ордене – свидетельство, что он достоин офицерского звания, а первой взаимной любви – рай. Как я был счастлив, получив за Фридландское сражение Анненскую саблю. Не знаю, чему бы я теперь так обрадовался. Тогда ордена были редки, все рескрипты подписывал сам государь и, получив такой, я в первый день затвердил его наизусть:

«Господин корнет Булгарин!

В воздание отличной храбрости, оказанной вами в сражениях 1-го и 2-го июня (1807 года), где вы, быв во всех атаках, поступали с примерным мужеством и решительностью, жалуя вас орденом Св. Анны третьего класса, коего знаки препровождая при сем, повелеваю возложить на себя и носить по установлению, будучи уверен, что сие послужит вам поощрением к вящему продолжению усердной службы вашей.

Пребываю вам благосклонный Александр».

Все новые кавалеры собрались в Мраморном дворце, и шеф наш, Его Высочество цесаревич, вручил каждому рескрипт и орден, и каждого из нас обнял и поцеловал, сказав на прощанье: «Поздравляю и желаю вам больше!»

А затем были и первая любовь. Из глубины памяти пропечаталось очаровательное личико Шарлоты. Чуть приподнятая верхняя губка, черные локоны, матовая кожа, а глаза... глаза – сама живость, искренность, игривость, желание. О – как они могли передать все оттенки любовной игры – от легкой искры до глубокого темного пламени страсти. Как приятно было погружаться и всплывать, чтобы только набрать в грудь воздуха. Она хохотала над моими выдумками, лукаво щурилась или грациозно изгибалась. В неистовстве она хрипела, а на вздернутой губке выступали крошечные соленые капельки... Как счастлив я был тогда с ней!

Цирцея и Калипсо в одном лице – так, помнится, характеризовал ее полковник Талуэ. Лишь с третьего его намека понял я, что это Шарлота искала моего расположения, а не я – ее (как думал!), и с корыстной целью – она оказалась коварной шпионкой. С течением времени прекрасная француженка превратилась в приятное, щекочущее чувства воспоминание, хотя тогда, в декабре 1807 года, ее разоблачение доставило мне немало горьких минут. Но что те минуты – как злая приправа к европейскому изысканному блюду – в сравнении с месяцами, годами неутоленного чувства. От шпионской мелодрамы мысли проскочили сразу в драму.

Лолина, сжался надо мною! Всего месяц я смел ее так называть – да и в этот месяц не питал надежды хоть сколько-нибудь к ней приблизиться. Она меня звала по-польски – Тадеуш. От воспоминаний этого короткого времени сразу бросает в трепет лихорадки. Один раз я держал ее в своих объятьях! Не по взаимному влечению, а благодаря божественному капризу римской весталки. Тогда решилось дело: ее просватали за богатого старика, она была в отчаянии... Я как сейчас помню ощущение совершенства, покрытого шелком, горячей кожи, болезненного воспаления на грани чувств, за которым обморок, смерть... Воспоминания этих сладких судорог такие же острые, как толчки агонии, сотрясающей древко лейб-казацкой пики...

Моя Лолина – так я звал и зову ее только про себя. Лолина смеялась, играла, я робел и старался растопить ее сердце описаниями своих военных подвигов и мадригалами на польском языке. Что ей было до одного из поклонников, молодого, без состояния, без определенных видов на будущее. Тогда, в Париже, я был стеснен в средствах, только собирался поступить на службу к Императору... Да и солдат был Лолине, верно, не нужен. Как оказалось после, нужен был генерал. Любит ли она своего Витта? Как бы то ни было...

Светская и страстная, все обещающая и ничего не дающая, искренняя и коварная, воспламеняющая и холодная, как медный пятак. Быстрый ум ее в сочетании с неодолимым очарованием приводили к непонятному онемению. В ее при-

сутствии я с трудом подбираю слова, путался не то, что во французском – родном польском языке, неловкими движениями задевал всякие безделушки, которые она так любила. Впрочем, наверное, и теперь любит. Сильно ли переменялась? Мы не виделись 16 лет, – целый пуд времени...

3

Первым в кабинет, как обычно, зашел Николай Иванович. – Какие новости? – спросил он сразу.

Греч, как и все, уверен, что я знаю больше других. Это дорогого стоит, когда ближайший помощник свято верит в твоё всезнание. Но как трудно поддерживать такую репутацию! Хорошо, что до Александра Христофоровича я успел заехать в министерство иностранных дел и услышал свежие новости. Да пару сплетников повстречал. Есть люди, которые находят удовольствие и значение собственной персоны в том, чтобы рассказать издателю газеты новость, какой он ещё не знает. Удивитесь такому известию, и будете регулярно бесплатно получать целый ворох сплетен и пару новостей. Различить их просто: сплетни подробные, обкатанные, с множеством красочных деталей, а свежие новости путанные, обрывистые, их обязательно надо проверять и дополнять... сплетнями. Так вашу газету будут читать непременно.

– В Нью-Йорке, вот, отпраздновали День благословения велосипедов, – сказал я.

– Американцы готовы поклоняться всему техническому, – заявил Николай Иванович. – Это не новость.

– В Дрездене умер Фридрих Август, король Саксонии.

– Какая потеря! – воскликнул Греч. – Ведь это один из са-

мых знаменитых государей Европы. Недаром народ прозвал его Справедливым!

– Недаром. Я это знаю еще и потому, что он был герцогом Варшавским, – сказал я. – Но вот судьба: этот король всю жизнь стойко стремился к нейтралитету, а его солдаты воевали сначала против французов, затем за Наполеона. Саксонцы, шедшие с Неем на Берлин, были почти уничтожены в битве при Денневице, а в благодарность услышали от Нея обвинение, что благодаря им он и был разбит. Когда Наполеон оставил Дрезден, Фридрих Август с семьей последовал за ним, более как пленник, чем как союзник. Затем в битве при Лейпциге Фридрих Август был взят в плен уже союзниками, а его несчастная страна, сделавшаяся главным театром военных действий, невыразимо страдала и от французов, и от союзников.

– Но после войны король – необходимо отдать ему должное, старался залечить раны своей страны и – успешно, – глубокомысленно заключил Греч.

– А еще Англия и Франция готовы вместе с Россией выступить против Турции, – совершенно спокойно сказал я.

– Да ведь это сенсация! – воскликнул Греч. – Что же ты молчишь? Решение принято?

– Великие державы боятся, что Средиземноморье окажется во власти России и потому жаждут участвовать в антитурецкой коалиции. Теперь греческие патриоты могут рассчитывать на серьезную поддержку. Но это пока только сведе-

ния, – я покрутил пальцами в воздухе.

– Хорошо, я курьера пошлю к Родофиникину.

– Пошли, голубчик Николай Иванович. Ты уж сам все это отпиши да цензору отправь.

Чем хорош Греч – усидчивый. Лучшего корректора я в жизни не видал, жаль только, что он еще и редактор. Тут от его слишком правильной русской речи одна статья поневоле делается похожа на другую. А доказать это автору первой «Пространной русской грамматики» нелегко.

В гранках оказались лишь две полосы, пришлось Николая Ивановича просить налечь на редактуру. Тут он всегда готов. А задержку образовал, как всегда, Сомыч.

– Что он там пишет-то? – спрашиваю.

– Критику на Полевого.

– Так гони его ко мне, я ему всыплю!

Тут дверь сама распахнулась, и в кабинет ввалился Сомов.

– На ловца и сом бежит! – не сдержался я и отвесил каламбур. – Орест, где критика, которую ты обещал... когда сделать?

– К полудню сегодняшнему, – быстро подсказал Греч.

– Но ведь нельзя так-то – по заказу, – выдохнул Сомов.

И забормотал что-то про воображение, про вдохновение. Как утомили меня деятели, путающие журналистское ремесло с писательским делом. Не нужно никакого вдохновения, чтобы сообщить, что в дворянском собрании состоялся бал или на прощепке столкнулись две кареты. Как и для изло-

жения того факта, что Полевой в последнем номере «Московского Телеграфа» написал ерунду.

– Да и не это главное! – заявил вдруг Сомов.

– Про аванс даже не заикайся, – рявкнул я. – Чтоб через час...

– Нет же, – перебил меня этот нахал. – Пушкин приехал! То есть – приезжает сегодня! Меня знакомый известил.

– Тоже мне – новость сказал! Мне об этом третьего дня письмо из Москвы прислали, – сказал я, не моргнув глазом. Где это видано, чтоб редактор о приезде знаменитого писателя не знал!

– Так коли знаете, отчего ж...

– Что – тебя не просветил?

– Я в том смысле, что известить читателей, – насупился Сомов.

– Я вот сейчас только сел заметку писать, да тут ты со своей критикой отрываешь. Делом, делом занимайся, Орест. Чтоб через час твой Полевой был у наборщика!

– Хорошо, Фаддей Венедиктович.

– Смотри, Сомыч, оштрафую!

Сомов скрылся за дверью, а Греч тут же встал в позу:

– Что же это ты, Фаддей Венедиктович, и мне ничего не сказал?

– Пушкин и Пушкин – и Бог с ним, – отмахнулся я, – Веришь ли, Николай Иванович, так закрутился, что позабыл совсем. Верно – пошумит, да обратно уедет. Царь-то его со-

всем не простил.

– Раз в столицу пустил, то простил, – резонно заметил Греч. – И, кажется, я вправе спросить...

– Виноват, Николай Иванович, виноват, но, ей Богу, – позабыл! Да и письмо не третьего дни, а вчера только пришло, это я Сомычу так, для острастки сказал.

Оправдание вышло корявым, но легенда о всезнайстве главного редактора не должна быть поколеблена ни на йоту – вот основной постулат, на котором зиждется весь предыдущий разговор. Я и задуматься как следует не успел о том: кто приехал, почему, а уже все всем постарался объяснить. Греч остался недоволен, ну да я его приласкаю – похвалю за статью, да и дело с концом.

Пушкин, Пушкин... Значит, допущен к проживанию в столице. Полное прощение? Кто так близко знаком был с заговорщиками, полностью никогда прощен не будет. Подозрение останется. Это я по себе знаю. Каков он? Вот и познакомимся. Верно то, что про него ранешнего рассказывают – все теперь не так. Но талант его в ссылке несколько не оскудел, это видно по стихам, вышедшим в Москве.

Кстати, а почему, собственно, я о приезде Пушкина не знал?

Сплетники, допустим, не успели узнать, но Александр Христофорович... он-то – наверное знает. Отчего промолчал?

От секундного колебания бросило в дрожь. Неужели я

сказал что-то лишнее? Во второй раз лихорадочно перебрал в уме весь разговор с Бенкендорфом, и даже припомнил последнюю записку для него. Нет, не было ничего: ни крамолы, ни двусмысленностей, ни намеков... Намеком, конечно, что угодно можно истолковать, но ведь генерал не может быть предубежден против меня. Не за что. Ни одна его просьба мною не манкируется.

Стало быть, причина в другом? В чем же? Забыл? До сих пор ничего не забывал, а тут забыл? Неспроста ведь Александр Христофорович всегда так ловко разговор ведет – он планчик себе заранее составляет, готовится – это уж наверное! И важного пункта он бы из своего плана не выпустил... Вот, вот ключевое слово – важного! Вернее всего: Бенкендорф считает неважным как приезд Пушкина, так и его самого, всего лишь одного из известных – да и только – литераторов. А Пушкин совсем не таков, от него много чего ждать следует. Тут Бенкендорф, к счастью, туп. Потому и имеет надобность в Фаддее Венедиктовиче. Я тот, кто пережевывает для него литературное мясо, обнажает костяк журнальной полемики, выявляет сочленения и связи жизни общества – превращает грубую пищу первичного слова в удобоваримые котлетки и прозрачный бульончик служебных записок. Александр Христофорович сам диетически питается и Николаю Павловичу из того же судка подает. На этой кухне я – шеф-повар. Говорят, что в восточной кухне высшим достижением считается такое блюдо, которое непонятно из

чего приготовлено. Рыба похожа на свинину, грибы – на рыбу, водоросли – на овощи. Я достиг высокого искусства в подобной кулинарии, но, если в такой «свинине» генералу, а тем паче царю встретится рыбья кость – со мной и поступят по-восточному жестоко. Но пока они не могут сами переваривать свеженину, до тех пор им нужен Булгарин. И вот благодаря этой зависимости Александра Христофоровича от моих записок – легкой зависимости (надо в том отдавать себе отчет) – я сохраняю возможность маневра, держусь своей позиции, храню «Пчелу», пишу Роман. Только площадка эта с годами сужается, а не расширяется. Почему так? Тому, кто управляет страной самодержавно, ненавистна мысль, что есть место – газетная или журнальная полоса – где нельзя все построить, расставить раз и навсегда. Сколько цензура не марай рукописи, а слово живое всегда притиснется, свое место найдет. В наш век общество привыкло читать: как девицы без мадригалов? как чиновники без новостей? как военные без гимнов своей славе? А за ними купечество и остальной люд, все приучаются к слову. Чье слово читают, тот и велик. А у кого самый большой тираж в России?..

Что это я себя в повара-то произвел вдруг? Верно – обедать пора, а ведь тут еще дел гора. Я вдруг вспомнил о бумагах Бенкендорфа. Достал из внутреннего кармана листки. Статья переписана писцом, да по первым строчкам понятно – Ивановский руку приложил, его стиль. Я невольно усмехнулся своим прежним рассуждениям. Не только меня чита-

ют, и его слово разлетается четырьмя тысячами экземпляров по России. Это дань бенкендорфова. А ведь моими стараниями Пчела стала самой большой и влиятельной газетой Империи Российской.

Ладно, одной заботой меньше, Андрей Андреевич пишет складно, его можно и в наборе прочесть. Я отложил статью Ивановского к готовым, наклонился над столом и стал выводить: «Приезд знаменитого писателя! Из Москвы нам пишут о приезде в Санкт-Петербург неподражаемого поэта А.С. Пушкина...». Какое уж тут, к ляду, вдохновение, надо было Сомыча хоть расспросить аккуратно – что ему еще об Александре Сергеевиче известно...

Истомина танцевала, как всегда, божественно, все аплодисменты по праву достались ей. Но внимание и испытующие взгляды были направлены на другую персону – Пушкина. После многолетнего отсутствия знаменитый поэт впервые явился на глаза столичной публики. Каков он? Кто знал Александра Сергеевича ранее, сравнивал поблекшие уже воспоминания с нынешней картиной, выискивая с помощью лорнета следы постарения или прежнего молодчества. Кто не знал – не только смотрел, но и прислушивался к пересудам знатоков. Пушкин проявил себя, как следовало ожидать, оригиналом – явился ко второму действию в кампании близких друзей – Дельвига и Плетнева, да не просто явился, а остановился в глубине зала, опершись локтем на бюст императора Николая. Позер – как о нем и рассказывали. Впрочем, так он ясно дает понять, что прекрасно знает свое положение и интерес, направленный на него. Но что за дело рассматривать героя издали?

Я сразу покинул свое кресло и подошел сквозь толпу к Пушкину знакомиться. Барон Дельвиг отрекомендовал меня.

– А я угадал вас, – сказал Пушкин, скаля зубы. – Мне верно вас описали.

– Зато вас угадывать нужды нет – вы сегодня премьер! –

в тон ему ответил я.

Дельви́г поморщился, а Александр Сергеевич совсем рас- смеялся.

– Чтобы произвести сегодняшний эффект, мне пришлось провести несколько лет вдали, в деревне. Согласитесь: быть кумиром четверть часа, между двумя па Истоминой – того не стоит!

– Царить четверть часа между биениями ножек Истоминой – об этом простой смертный может только мечтать.

– А вы большой шутник, Фаддей Венедиктович, – усмехнулся Александр Сергеевич. – Но ведь мы не простые смертные, – со значением добавил он. – В письмах об этом писать не с руки, а при знакомстве не могу не поздравить: вы за время моего отсутствия в столицах сделали замечательную карьеру.

– Спасибо. Как и вы.

– Не все так думают.

– Убедятся.

После обмена быстрых реплик Пушкин сделал паузу, которой я воспользовался, взял его под локоть и отвел от приятелей.

– Александр Сергеевич, вы, верно, в деревне не бездельничали, видел я ваши пьесы в «Московском Телеграфе», «Московском Вестнике». Совершенно восхищен. Особенно этим:

«Я помню чудное виденье:

Передо мной явилась ты,
Как мимолетное мгновенье,
Как гений чистой красоты».

– Вы виденье и мгновенье местами поменяли, – поправил

Пушкин недовольно.

– Верно, простите, память-то кавалерийская, все галлопом! – смущенно хохотнул я.

– Ничего, – отмахнулся Пушкин, – главное в газете не перевертите.

– Ловлю на слове, Александр Сергеевич. Извольте и нам, в «Пчелу» что-нибудь предложить! Гонорар будет хороший и тираж – сами знаете – на всю Россию. Или ж в «Литературные Листки».

– Так ведь ничего не осталось, все-все Полевой и Надеждин в Москве выпотрошили.

– Но в архиве-то, наверное, что-то оставлено? Про запас?

– Оставлено, конечно.

– Александр Сергеевич, хотите по семи рублей за строчку?

– Не всякий архив опубликовать можно, и даже хранить, – сказал Пушкин и вдруг посмотрел мне прямо в глаза. – Уж вы-то, Фаддей Венедиктович, лучше других это знаете!

– Цензуре подвержены как все, – развел я руками.

– Да я не о цензуре, – тихо и куда-то в сторону, по театральному сказал Пушкин.

– А о чем? О журнале «Северный Архив»?

Александр Сергеевич мотнул головой.

– Архивы бывают свои и чужие. Чужим распоряжаться сложнее. Верно?.. Извольте, Фаддей Венедиктович, пришлю стихов – из нового. Хотите поэму?

– По пяти рублей?

Пушкин снова развеселился.

– Я чувствую, мы с вами сойдемся! Да только не в цене – очень вы прижимисты, Фаддей Венедиктович.

– Вижу, что негоже с вами рядиться, Александр Сергеевич, не тот вы человек.

– Вот и славно, так ждите – пришлю! – пообещал Пушкин.

Тут дали занавес, и мы расстались. Я занял свой партер, а Пушкин, дабы не смущать Истомину незаслуженным видом затылков, прошел в одну из передних лож.

Глава 2

Пушкин присылает стихи и является в «Северную Пчелу» держать корректуру. Неожиданное приглашение на обед. Застольное сближение с поэтом. История – как стихи смывали кровью. Доверительный рассказ Пушкина о встрече с Кюхельбекером и просьба опубликовать стихи государственного преступника. Я – душеприказчик Кондратия Рылеева. Пушкин интересуется его архивом. Александр Сергеевич дразнит меня князем Вяземским, а потом предлагает свою дружбу. Пушкин с Дельвигом приходят ко мне на ужин. Разговор о моих странствиях в ХХІХ веке. Воспоминания о детстве. Мой отец.

1

Любезный Фаддей Венедиктович!

Уверенный в Вашем бесконечном добросердечии, обращаюсь к вам так, словно вы уже простили мои пустые обещания. Нынче я перед вами чист – судите по толщине пакета! Это лишь толика того, что обещаю дать в ваши журналы после осени в Михайловском. О цене мы говорили.

Свидетельствую вам искреннее почтение.

Пушкин.

Санкт-Петербург, 17 октября 1827года.

Можно ли дуться на человека, так владеющего пером и чувствами читателя? А вот Бенкендорф не отдает этой фигуре должного. Был бы Александр Христофорович в театре, да понаблюдай он за публикой! Хотя, верно, о настроениях публики он получил донесение, и не одно, но счел это пустой сенсацией. Не понимает он, что сила строк, написанных талантливой рукой, может быть не менее, чем сила приказа главнокомандующего, бросающего полки на смерть. И, как солдаты согласны идти в огонь, так и пылкие сердца готовы следовать слову кумира! И Пушкин тут прокладывает первую стезжку.

Ну и хорошо, что не понимает. От греха – подальше.

Издатель – он первооткрыватель. Только путешественник наносит открытую гору или остров на карту и прославляет

свое имя. А издатель – имя автора. Оттого у него рождается и прямо противоположное желание – сохранить открытие для себя. Возможно ли такое? Во всяком случае – не с Пушкиным, Пушкина, как говорится, в мешке не утаишь.

Поддавшись настроению минуты, я написал ответ.

Дорогой Александр Сергеевич,

с благодарностью принимаю Вашу посылку. Такое сокровище можно не то, что месяцы, а и всю жизнь ждать!

Ваши пьесы прекрасны: какая глубина! какая смелость и какая стройность! Особенно хороши новые главы Онегина. Вы, несравненный Александр Сергеевич, как некий херувим, занесли нам песен райских, кои – воистину – итог божественного вдохновенья, а не расчета низкого.

Но и без низкого прожить – никак, потому подтверждаю, что готов опубликовать в Пчеле мелкие вещи по оговоренной ставке. На большие вещи не посягаю (в Пчеле они не поместятся, а в журналах я такую высокую ставку предложить не могу), ими вы, полагаю, распорядитесь дополнительно. Но оставляю за собой право написать хвалебную критику на все – так мне нравятся творения Ваши. Впрочем, никакая критика не сможет одним доступным ей инструментом – низкой алгеброй – понять, поверить Ваш священный дар.

С величайшим почтением,

Ваш слуга, Фаддей Булгарин.

На минуту я даже размечтался: вот бы стать единствен-

ным издателем Пушкина! Для этого и газета, и журналы: «Пчела», «Сын Отечества», «Литературные Листки», «Северный Архив», «Талия» – есть, где разгуляться. Да невозможно это. Наверняка друзья потянут его в «Северные Цветы» и прочие альманахи. Да и рамок ему никто не задаст: не то, что мы – грешные, а и Александр Христофорович, и даже государь...

«Пушкин приехал!» – заорал в коридоре Орест Сомов. На этот раз он меня не удивил. Я успел отложить статью из иностранного отдела, писанную Гречом, встал из-за стола. Дверь распахнулась, в проеме возник Пушкин. Он мгновенно окинул кабинет и остановил взгляд на мне. Глаза смотрели остро, с доброжелательным интересом. Сразу начал шутить. Это всегдашняя у него манера или только со мной?

– Здравствуйте, дорогой Александр Сергеевич!

– Добрый день, любезный Фаддей Венедиктович. Уж не намекаете ли вы, что я вам дорого обхожусь?

– Нисколько. Истинному таланту цены нет.

– У рукописи всегда мера найдется. Теперь бы и Гомера продали! Скажите, сколько бы вы ему за строчку дали? Почему у вас гексаметры? Дороже наших ямбов с хорейми? – оскалился Пушкин.

– Так они и длиннее, Александр Сергеевич, – сказал я и жестом пригласил его в свое кресло, – вот, присаживайтесь, гранки готовы.

– Нет, увольте, на редакторское место мне рано. – Пушкин сгреб со стола приготовленные гранки стихов, и устроился в кресле у низкого столика. – Вы позволите?

– Как вам удобно.

– И перо, пожалуйста.

Я подал свое, со стола.

– Длинной в гекзаметр, – сморщился Пушкин. – И вы этой оглоблей все-все отмахиваете?

– Этим я чужое режу, – пошутил я, но Александр Сергеевич, кажется, принял всерьез, кивнул и склонился над рукописью.

Меня для него больше не было. Он погрузился в текст, иногда шевелил губами, два-три раза сделал отчеркивания, что-то вписал. Я занял свое редакторское кресло, притянул вновь статью Греча, но из-под тиха наблюдал за Пушкиным. Так он работает? По крайней мере, отречение полное. Я хотел предложить ему чаю или кофе, но не решился отвлечь. Греч мне не шел, тогда я сообразил, что еще надо сделать. Влез в стол и достал пачку ассигнаций, отсчитал положенное – 250 рублей. Коли он все про деньги говорит, значит, – находится в безденежье. Помещик он, я слышал, небогатый.

В четверть часа все было кончено.

– Вот тут, Фаддей Венедиктович... (я быстро подошел) надобны запятые, тут точка. А здесь слово заменить «влекомый» на «гонимый» – будет точнее, мне только что на ум пришло. А здесь две опечатки – обязательно поправить надо.

– Хорошо, Александр Сергеевич, все будет в точности исполнено... Извольте, вот – гонорар.

Пушкин вскочил, взял деньги, сунул их в карман.

– Это кстати. Я обедать собирался, не хотите ли присоединиться? – просто сказал он.

– С превеликим удовольствием, – я принял приглашение через короткую паузу, – только распоряжусь.

Признаться, в эту секунду я пытался понять причину приглашения: внезапный порыв или замысленный расчет?

Я нашел в коридоре Сомова и отдал ему гранки с наказом проследить правку и сообщить Гречу, что сегодня, верно, уже не буду. После вернулся к гостю.

– Так едем, у меня и извозчик готов, – сказал тот.

Пушкин велел ехать к «Доминику». Дорогу мы потратили на болтовню об общих литературных знакомых. Пушкин был оживлен, сплетни его, казалось, искренне забавляли. В ресторане Александр Сергеевич спросил отдельный кабинет.

– Читаю в глазах ваших, Фаддей Венедиктович, род того удивления, какое бывает при том, когда певчий бас в литургии дает петуха.

– Не скрою, Александр Сергеевич, удивлен, но с приятностью.

– Считаю, что нам следует ближе быть знакомыми, ведь мы люди одного круга.

– Безусловно. Русская литература для нас...

– Правда ли, что ваш батюшка весьма родовитый дворянин?

– Что?.. Да. Наш род известен с конца XVI века. Основателем считается севский часник Василий Григорьевич. Старый князь Карл Радзивилл был опекуном моего отца, когда тот остался сиротой.

– А Радзивилл – королевского рода! Вот видите: хоть мои предки и постарше ваших, мы вполне можем ладить? – подмигнул мне Пушкин.

– Трудно понять, когда вы шутите, Александр Сергеевич, а когда – серьезны.

– Почти всегда серьезен.

– А мне кажется – напротив. Или вы все свои шутки дарите мне?

– Не обольщайтесь... Икры хотите?

– С удовольствием.

– И шампанского.

Пушкин заказал закуски, три перемены, сверх того шампанского, много вина и просил меня не беспокоиться.

На первых закусках разговор затих, Пушкин выказал жадность к еде, словно пропостовал неделю. Расстегаи были особенно хороши, белужья икра свежая, а красная чуть солоня. Пушкину нравилось все, все хвалил, над всем причмокивал толстыми чувственными губами.

Первый тост подняли за литературу.

– Литература – призвание ваше, – молвил Александр Сергеевич, – но ведь начали вы с военного поприща; впрочем, как многие. Но когда вам пришло в голову это занятие?

– У нас в корпусе был театр, стихи писались, – сказал я. – Да и военную карьеру мою в России, честно говоря, оборвала, в какой-то мере, литература: я же сатиру на полкового командира написал. На гауптвахту попал, но тем дело не кон-

чилось. Впрочем, бывают и совершенно обратные карьеры, — закончил я рассказ.

— Как это? — заинтересовался Пушкин.

— Знал я двух молодых поэтов, которым пришлось идти в бой именно во искупление своих стихов.

— Расскажите, расскажите!

— Извольте. Было это в финскую кампанию. В корпус графа Каменского присланы были из Петербурга военным министром, графом Аракчеевым, поручики Белавин и Брозе, не помню какого пехотного армейского полка. И вот за что: общими силами они написали сатирические стишки под заглавием «Весь-гом». Осмелюсь напомнить, что прежде командовали: «Весь-кругом», — и что это движение, фронтом в тыл, делалось медленно, в три темпа, с командой: раз, два, три. А потом стали делать в два темпа по команде в два слога: весь-гом. Эта маловажная перемена послужила армейским поэтам предметом к критическому обзору Аустерлицкой и Фридландской кампаний. В службе не допускаются ни сатиры, ни эпиграммы, и молодых поэтов наказали справедливо и притом воински. Военный министр прислал их к графу Каменскому без шпага, то есть под арестом, предписав: «Посылать в те места, где нельзя делать весь-гом». Эти офицеры были прекрасные, образованные молодые люди. В первом сражении граф Каменский прикомандировал их к передовой стрелковой цепи, однако ж, без шпага. Поэты отличились, и, не смея прикоснуться ни к какому оружию, потому что счи-

тались под арестом, вооружились дубинами и полезли первые на шведские шанцы. Граф Каменский после сражения возвратил им шпаги, и написал к военному министру, что «стихи их смыты неприятельскою кровью». Граф Аракчеев позволил им возвратиться в полк, но они не согласились и остались в корпусе графа Каменского до окончания кампании, отличаясь во всех сражениях.

Пушкин совершенно забыл о еде, и во все время рассказа, кажется, даже не шелохнулся, только глаза сверкали.

– Отличный рассказ. Вставьте куда-нибудь, – молвил поэт. – Стихи кровью смыты – вот образ поэтический, созданный поневоле Каменским... Впрочем, мне кажется, стихи не пятно, чтоб смывать, а доблесть, особенно если из-за них приходится рисковать головой... А что, страшно в бою?

– Нет, Александр Сергеевич, после страшно. А в бою есть хмель, кураж, такое упоение, от которого голова кружится. Даже рану человек на себе, порой, не замечает.

– Теперь некогда, а после, Фаддей Венедиктович, вы мне все про вашу Финляндскую компанию расскажите. Ваш рассказ тем хорош, что вы все подмечаете нашим, литературным глазом. Все черты, впечатления... А то спросишь бывшего человека, а он только и скажет: «да, мол, было дело! Ходили в атаку пять раз. Потом победили (или проиграли)» – и весь сказ. Интересный собеседник – это большая редкость. Я по молодости, бывало, резко менял круг знакомых, так, что даже друзья обижались. Нравилось мне быть рядом с то-

гдашними светскими львами Орловым, Чернышовым, Киселевым. Киселев в 31 год стал генерал-майором, он умел одновременно быть другом Пестеля и доверенным лицом императора Александра. Чем не типаж? Орлов состоял, как потом открылось мне, в Ордене Русских Рыцарей и мечтал о военном походе на Москву. А генерал-адъютант Чернышов имел многочасовые беседы с Наполеоном и прекрасно знал окружение французского императора. Что мне были сетования Пущина, что это не близкие нам люди?.. Так расскажите о Финляндской кампании?

– К вашим услугам, Александр Сергеевич.

– Я и сам бы хотел участвовать в какой-нибудь кампании... В детстве в Лицее, мы же все об этом мечтали – участвовать в сражениях. Шла кампания 12-го года, мне было 13 лет. Александр Раевский, ровесник мой, был уже поручиком, правда, в дивизии отца. Раевский старший был генералом, а мой отец – только майором... Простите, простите Фаддей Венедиктович, может быть, вам неприятно?.. Ведь вы тоже участвовали... там... Не примите, ради бога, на свой счет.., – Пушкин даже, кажется, смешался.

– Я нисколько не обижен, – я постарался улыбнуться самым любезным образом, отметив пытливый взгляд Александра Сергеевича. – Совесть моя перед Россией чиста, я хоть и сражался на французской стороне, но, в основном, легионером в Испании. А с русской службы я ушел в 1809 году, после Тильзитского мира, когда Россия с Францией была не

только в мире, но и в дружбе. Кстати, я присутствовал при встрече высочайших особ, правда, не близко.

– Все равно, вам повезло, вы стали свидетелем великой эпохи. А я всю войну провел в стенах Лицея, мечтая о славе с такими же, как я, мальчишками... А как все после повернулось, кого какая слава нашла... Представьте, Фаддей Венедиктович, я ведь пятого дня видел Кюхельбекера! – Пушкин наклонился ко мне через стол, зрачки его расширились, ноздри большого носа трепетали; в этот момент он совсем стал похож на хищную птицу.

– Как это возможно?... – известие меня поразило. – Ведь Вильгельм Карлович есть один из самых... то есть... монаршая милость безгранична, но как никто о том не знает?

– Милость тут ни при чем, – горько сказал Александр Сергеевич, – мы встретились на дороге, его везли куда-то из крепости. Есть такое место – Залазы. Там к станции подъехали четыре тройки с фельдъегерем. Я решил, что везут арестованных поляков, и подошел ближе. Если бы Вильгельм не оборотился на меня, я бы его мог не узнать. Мы кинулись друг к другу, а жандармы нас растащили. Кюхельбекеру сделалось дурно... я ему даже денег не смог передать. Представьте: он осунулся, оброс черной бородою... Вы Кюхельбекера хорошо помните, Фаддей Венедиктович?

– Конечно, мы знакомы были достаточно. Да и однажды увидев, Вильгельма Карловича не забудешь: высокий, всклокоченный, подслеповатый, нескладный, востор-

женный... Мы хоть и не были близки, но всегда уважительно относились друг к другу. Очень жаль... Увлечение ложными идеями погубило многие таланты.

– Вы так верно его описали, – заметил Александр Сергеевич. – Что он живой встает рядом... Выпьем здоровье Кюхли, пусть его дальний путь будет, по возможности, легким.

Пушкин, наконец, стал серьезен. Мы выпили.

– Доведется ли когда свидеться вновь! – вздохнул Пушкин. – А вы, вы ведь тоже потеряли в этом деле друзей?

– Одного, но драгоценнейшего, – произнес я.

– Вы были близки с Рылеевым, я знаю. Я, по возвращению из ссылки был в гостях у Натальи Михайловны. Печальное зрелище. Она много и с благодарностью говорила о вашем участии в судьбе ее и детей. Вы действуете так, сказала вдова, словно вам диктует и завещает сам Кондратий Федорович.

– Это долг мой.

– А я вот хочу Кюхельбекера печатать. Поможете? – вдруг в лоб спросил Пушкин.

Я помолчал, потом ответил.

– Нет, увольте. Долга у меня перед Вильгельмом Карловичем нет, а рисковать до такой степени ради услуги даже для вас, дорогой Александр Сергеевич, – не могу. Вы же знаете мои обстоятельства. В каком-то смысле за моими изданиями цензура следит даже строже, чем за, так сказать, более вольнодумными. Потерять газету или журнал за один такой

случай... цена слишком высокая. Да и для него самого – Кюхельбекера – было бы это вопросом спасения, тогда риск обретаёт смысл, а так – лишь одно утешение, не более... Извольте – денег передам, это в сибирском краю подороже журнальной славы будет.

– Хорошо, я подумаю, – кивнул Пушкин с самым серьёзным и задумчивым видом. – Спасибо за столь прямой ответ, Фаддей Венедиктович. В этом больше добра, чем в пустых обещаниях иных доброжелателей.

Он протянул мне руку в знак приятствия и словно подвел рукопожатием итог какой-то мысли, после чего вдруг развесялся.

– Часто ли вы в театрах бываете? Коей из балерин предпочтение отдаете? Телешовой? Или друг Грибоедов не велит? – хохоча, Пушкин наполнил наши бокалы.

– Я человек женатый, в театрах с супругою бываю, – степенно ответил я, но на веселье Пушкина сие не повлияло.

– Я, знаете, Истомину ценю, вы верно, стихи мои в «Онегине» помните. Но и Телешовой должное отдаю – в ней есть своя изюминка. Но про нее – молчок, я понимаю: имущество отсутствующего друга должно остаться в неприкосновенности. Выпьем здоровье Катерины Александровны!

– Странно слышать ноты циника в словах первого романтического поэта.

– Я, знаете, ни тот, ни другой. Я – человек настроений, – признался Пушкин.

– Верно – самых крайних, – сурово сказал я, не видя оправданий насмешкам Александра Сергеевича, – если позволили себе сочинить такой гадкий пасквиль, как «Гавриилиада».

– Дорогой вы мой человек! – вдруг без всякой логики обрадовался Пушкин. – Фаддей Венедиктович! Дайте обнять вас за золотые ваши слова!

Александр Сергеевич обошел стол, я встал, он меня обнял и расцеловал с такой искренностью, что я невольно улыбнулся.

– Что же вы меня за брань целуете?

– Так ведь за дело, за дело... Я и сам не рад, что написал сию поэму. И признаться в ее авторстве бывает стыдно, а что делать? Вот и вы ж не сомневаетесь в бойкости именно моего пера... А что написано пером... Но вам, друг мой Фаддей Венедиктович, во второй раз благодарность моя за прямоту и честность. Всегда вашему слову доверял, а теперь вижу, что на него, как на скалу положиться можно! – Пушкин поднял бокал. – За вас!

– Спасибо за панегирик, Александр Сергеевич. В ответ пью ваше здоровье!

– Так и я вам прямо скажу, – продолжал поэт, усаживаясь на место и вновь с жадностью принимаясь за еду. – У вас, Фаддей Венедиктович, также много дрянного написано, и критика бывает ох как неточна.

– Нет у нас в критике другого Пушкина или Жуковского.

Критика больше правильных вопросов ставит, чем дает правильных ответов, в том ее и сила, и слабость. Ответы даете вы, писатели.

– Ну, только без обид, Фаддей Венедиктович. Я ведь просто сказал, по-дружески. Мне кажется, диалог наш уже приблизился к дружескому камертону. Иль нет?

– Сердечно рад сблизится с вами, Александр Сергеевич.

– Ну, так давайте без церемоний. Я рад найти в вас человека знающего и искреннего. Выпьем еще... Вот и молочный поросенок поспел!

Слуга принес запеченного в румяную корочку кабанчика с петрушкой в пасти. Пушкин опять был голоден, он отхватил половину задней части и набросился на нее. Его аппетит раззадорил меня, да и хмель требовал своей жертвы. Поросенок был испечен на славу, к нему потребовалась еще бутылка вина. Александр Сергеевич стал очень мил, рискованно больше не шутил, болтал об общих московских и петербургских знакомых, особо выделяя таких, как Зинаида Волконская и Толстой-Американец. Подобные персоны всегда имеют повод стать предметом досужих разговоров. Толстого поминали в связи с его дуэлями.

– А правда ли, что Грибоедов встретил на Кавказе сосланного Якубовича и они возобновили дуэль как бывшие секунданты? – спросил Пушкин.

– Это верно. И тот поступил нехорошо. Зная, какой отличный пианист Александр Сергеевич, Якубович кажется на-

рочно прострелил ему руку.

– Если так, то это подлый поступок. Увижу – руки не подам, – скривился Пушкин.

Больше мы неприятных тем не возобновляли, и конец вечера пробежал незаметно в самой дружеской непринужденной беседе. Александр Сергеевич настоял самому заплатить за ужин, а напоследок сказал:

– День сегодняшней считаю началом настоящего нашего знакомства, Фаддей Венедиктович. Вижу, что мы можем сойтись ближе, если хотите. В любом случае, уважаю вас и ценю среди самых избранных людей. И говорю так прямо не из лести, а чтобы и вы, Фаддей Венедиктович, поверили в мое искреннее расположение.

Я поблагодарил Пушкина в самых любезных выражениях, и в ответ выразил удовольствие пригласить его к себе на ужин.

Льстить Александр Сергеевич ни в чью пользу не расположен, знаю это твердо. Тем приятнее слышать его слова, размышлял я, едуци домой. Но в пути винные пары стали улетучиваться, и в словах Пушкина мне стало мерещиться высокомерие. Он предлагает свою дружбу так, словно уверен, что от такого дара не только не отказываются, а обязательно принимают с поклоном. А если в нем говорит не самомнение, то, опять же, предложение высказано в таких выражениях, что отказаться совершенно невозможно. Что это, как не навязчивость? К чему она? Неужто добрая застольная бе-

седа может стать таким основательным фундаментом?..

А почему – нет? Не потому ли, я слышал, Пушкин легко сходится с самыми разными людьми?

3

Я тороплюсь по лестнице, полы шубы заплетают ноги, словно бегу в воде. Загривок жжет горячий пот, стекающий из-под бобровой шапки. Хватая ртом тепловатый коридорный воздух, долго звоню в дверь. Наконец по ту сторону шага, дверь распахивается, на пороге сам Рылеев.

– Кон-дра-тий, на-ко-нец-то, – медленно, по-рыбьи, выговариваю я.

– Здравствуй, Фаддей! – друг взъерошен, серьезен. – Как ты?

– Да я с ума схожу! Что происходит? Я извозчика не нашел, все от канонады попрятались, пешком шел. Сначала на Сенатскую, потом сюда.

– Я тебя ждал.

Я делаю шаг вперед.

– Мне сейчас некогда, – перегораживает путь Рылеев.

– Ты же говоришь – ждал?

– Знал, что придешь. Но ко мне тебе нельзя, – Кондратий отстраняет меня чуть-чуть назад. – Погоди.

Сам скрывается в квартире и тут же выныривает с толстым портфелем, словно заранее заготовленным.

– Со мной кончено, а ты должен жить, Фаддей, и сохранить вот это! – с нажимом сказал Рылеев.

Я заглядываю другу в глаза, мне жарко, тошно, ноги сла-

беют.

– Кондратий, эх... что же сделать?

– Что – я сказал, больше нечего, – Кондратий обнял меня одной рукой, потом оттолкнул другой и быстро закрыл дверь.

У меня брызгают слезы – какие бывают в детстве от внезапной острой боли или обиды. Я закусил руку и сдержал озверелый крик.

Чего на лестнице-то кричать?



– Фаддей, Фаддей! – позвал тихий голос. Я прынул к нему, помня сон, но голос был не Кондратия, а жены.

Это Леночка гладила меня по щеке и тихо звала.

– Ты кричал. Тебе приснилось плохое... Подать воды?

– Да, спасибо, Ленхен.

Только ответив жене, я окончательно пришел в себя и почувствовал, что весь мокрый, только пот против сна не горячий, а холодный. Это мост из сна в реальность – липкий, противный, как сам сон. Давно этот кошмар не снился. Надо бы свечку поставить да молебен заказать на помин души раба Божия Кондратия... Чего пришел тревожить? Кто звал?.. После казни долго каждый день снился, и больше всего эта последняя встреча. Я почувствовал боль, посмотрел на руку и увидел следы зубов. Бывало, что и в кровь прокусывал. Леночка обязательно хлопотала, перевязывала, разговорами увещевала. Вот и теперь принесла воды, пошептало что-то ласковое, подала сухую рубашку.

– Спасибо, друг мой, ты спи, мне уже хорошо.

Ленхен, перекрестив подушку, легла. И я уставился в потолок бессонными глазами.

Тысячу раз спрашивал себя – что можно было тогда сделать? После самой семеновской истории – уже ничего, конечно, раз Рылеев стоял в самом центре. А вот раньше? То-

же в тысячный раз даю себе ответ. Кондратий любил говорить о свободе, борьбе с тиранами, приводил в пример Соединенные штаты Америки. А о том, что мы не в Америке, и слушать не хотел. А я не понимал: как можно из одной страны сделать другую? Это же как свою старую кожу заменить на новую. Приживется ли она? Рылеев всегда убедительно говорил, и, пока я его слушал, невольно, бывало, поддавался обаянию страстного оратора. Но стоило мне попытаться по-своему изложить его мысль – смысл исчезал, логика разрушалась, суть ускользала. Оставались одни фигуры красноречия. Я чувствовал, что Кондратий не договаривает, но беседы по душам не получалось. Он отдалялся от меня и все больше погружался в заговор. По сути, он захлопнул передо мной дверь не в последнюю встречу, а гораздо раньше. Отдалял... Готовил в душеприказчики?

Кажется, я все это довольно передумал, так отчего же опять снишься, друг-Кондратий? Кто тебя звал?

Пушкин! Это с Пушкиным мы тебя наговорили вчера. Он все о Кюхельбекере сетовал и о тебе напомнил. Вильгельм Карлович, с виду нелепый чудак, повел себя умнее и расторопней многих «друзей 12 декабря» – как называет их император. Пока заговорщики сидели по домам и ждали ареста, а то и сами являлись в канцелярию градоначальника, Кюхельбекер бежал и так ловко, что его долго не могли найти. Греч как-то проболтался, что его тогда вызвали прямо к Бенкендорфу составлять словесный портрет беглеца. Делать нече-

го – составил. Да и то – куда деваться в такой-то момент, когда каждого подозревали! Ведь я тоже под допросом был. Призвали бы меня описание беглеца делать, может быть, и я бы не извернулся. У власти всегда есть чем человека ущучить, так что грех Греча не столь уж велик, как кажется сразу. Тем более, неизвестно – помог ли тот словесный портрет? Кюхельбекер человек все-таки неловкий, мог и сам себя выдать...

Тут я перед Пушкиным чист, друга его ловить жандармам не помогал. Но есть другая винишка, свою кость Бенкендорфу, чтоб не кусался, и я кинул. Это касается пушкинова «Годунова». Грех грызет, а что делать, кто не без греха?

– Ленхен! Ты спишь еще? – раздалось вдруг за дверью спальни. Проснулась тетка-фурия, тут уж не до воспоминаний, сей час весь дом переполошит. Родилась бы мужиком – стала бы унтером. Каким-то солдатам тут повезло.

Пора вставать и в редакцию ехать, да про Полевого подумать. Такой занозой стал этот купчик, нет на него никакого резону.

С момента приезда в Петербург Пушкин жил в гостинице Демута. Я знал это, но не представлял, что знаменитый поэт обитает в столь спартанской обстановке. Две комнаты его были обставлены скудно; их надо бы отдельно показывать тем, кто говорит, что Александр Сергеевич живет на широкую ногу. Если только не подразумевать под этим выражением большие картежные проигрыши. Здесь Пушкин, действительно, превосходит многих.

Я заехал для того, чтобы прояснить вопрос публикации его стихов, которую он приостановил своею запиской. Корректурa была выправлена, но печатание Александр Сергеевич вдруг отложил.

Было далеко за полдень, а Пушкин встретил меня в халате, у письменного стола.

– Засиделся, Фаддей Венедиктович, – объяснил он. – Я специально, пока работаю, не переодеваюсь, чтобы не сорваться куда-нибудь гулять.

– Разве это возможно, Александр Сергеевич, среди работы мысли, будучи погруженным в мелодию стиха, сочетая эти две сложные материи, – разве возможно вот так встать и идти куда-то?

– Почему нет? – просто сказал Пушкин. – Все, что придуmano – я помню, а придет время – продолжу. Да и не буду

же я вас томить ожиданием ради того, что муза порхает где-то рядом! В конце концов, в гостинице и другой литератор сыщется, которого ей можно посетить.

– А то и свалится случайно на неповинную голову, после чего какой-нибудь заезжий стряпчий в присутственном месте вдруг заговорит стихами.

– Славная шутка, – рассмеялся Пушкин.

– А моя муза, признаться, не так легка. Мне надобно время чтобы настроиться на сочинительство, да и беречься, чтоб никто не сбивал...

– Так вы и пишете, я слышал, романы. А это многословный труд, не то, что стихи. Я все-таки переоденусь, – сказал Александр Сергеевич, выходя в соседнюю комнату. – А вы пока что-нибудь полистайте, там свежий неразрезанный «Вестник» ... Ах, Боже мой, простите, вовсе не хотел портить вам аппетит моим другом Вяземским, а он там очень возможен. Извините, не подумал! – сказал Пушкин, при этом ничуть не смущенный своею неловкостью.

– Ничего, я это номер уже получил и прочел, – пробормотал я, впрочем, ничуть не обидевшись. Манера Пушкина так искренна, что злиться на него то же, что копить обиду на заигравшегося ребенка.

– Я закажу закуску в номер, или вы хотите отобедать? – спросил Александр Сергеевич, являясь уже в приличном костюме. – И еще раз простите за Вяземского – вовсе не хотел вас дразнить.

– Признайтесь, что хотели, – вдруг сказал я, еще ясно не понимая своей цели.

– Но...

– Признайтесь, что ваша мысль быстрее языка и в последний момент она настигла его, вы могли сдержаться, свернуть, запнуться, но в оставшуюся долю секунды вы решили – скажу! там посмотрим, что будет! Признайтесь же, Пушкин! Я не обижусь.

В начале моей тирады брови поэта грозно слились над переносицей, а в конце он вдруг расхохотался.

– Признаюсь, так и было, а я даже не сразу вспомнил – это так мимолетно... И как вы узнали?

– Между «свежий» и «Вестник» вы вставили еще слово «неразрезанный» – длинное слово, такое длинное, что пока его произносишь и готовишься к следующему, то не только «Вестник» вспомнишь, но и все его содержание. Кроме того, мне кажется, что удобнее сказать «свежий «Вестник», неразрезанный», чем «свежий неразрезанный «Вестник». Потому, скорее всего, «Вестник» смутил вас еще на слове «свежий», вы заколебались, вставили длинное «неразрезанный» чтобы дать себе подумать и уже без колебаний заключили – «Вестник»!

– Ни на чем не основанный, а потому блестящий анализ! – воскликнул Пушкин.

– Я уверен также, что сказано так не для того, чтобы меня обидеть, – продолжал я с некоторым чувством, сродни вдох-

новению. – А дабы напомнить и себе, и мне, что рядом с вами всегда будет витать это имя и, что вы ни в коем случае не собираетесь от него от...даляться, даже зная мое к нему отношение. И если мы будем дальше přátельствовать, то оба должны к этому обстоятельству приспособиться. В общем – такая проверка и предупреждение.

– Пожалуй, точно. Даже если у меня такой мысли и не было, то отношения вы, Фаддей Венедиктович, передали верно. И опять подтвердили свой дар тонкого наблюдателя. А Вяземский...

– Вот, вы продолжаете!.. Я потому так горячо это говорю, что, поверьте слову, хотел именно сказать, что в нашем разговоре это имя обязательно должно быть вами повторено. Упоминание «Вестника» дает к тому основание. А я в таком случае должен либо продолжить разговор, как ни в чем небывало, либо прекратить. А сейчас я скажу – давайте выберем предмет более интересный, чем князь Петр Андреевич.

– А вы бы разве отказались от старого товарища ради нового? – спросил Пушкин.

– Нет, конечно, Александр Сергеевич, потому и не обижаюсь на ваш маневр. Но, по правде, из старых друзей у меня только ваш тезка – Александр Сергеевич Грибоедов. Его ни на кого не променяю.

– Давно не видались?

– Он на Кавказе с 1824 года, а в прошлом году его подвергли аресту по семеновскому делу, привезли в Петербург. Тут

после освобождения мы с Александром Сергеевичем вместе жили на даче, гуляли, говорили. Война его изменила, он стал жестче, целеустремленнее, а прежде был гусар веселый... Я в этом узнал и себя – война быстро взрослит, огрубляет. Хорошее было время, но короткое. Спустя месяц он вновь уехал на театр военных действий.

– Я недавно видывал друга-Кюхельбекера, но его путь не на Кавказ лежит, а в Сибирь, откуда надежды на возвращение нет. Бунт против царя, дай Бог Николаю Павловичу долгих лет, даже и следующий государь не простит. Я по тому делу потерял двоих – еще и Пущина. А вы – Кондратия Федоровича... Его-то уж наверное – безвозвратно. Сочувствую вам, Фаддей Венедиктович, ну да что тут скажешь – про старые дрожжи не говорят трожды, все перемелется – будет мука. И то, что я задумал сделать для Кюхельбекера не нужно уже Рылееву... Хоть у погибающего поэта всегда есть неопубликованные стихи.

– Стихи-то, может, и найдутся, – туманно ответил я, вспомнив портфель, набитый бумагами, – да только одно подозрение на его имя несет издателю угрозу...

– Дадите прочесть? Спрашиваю прямо, поскольку вы меня достаточно знаете: я сам не только написал много запрещенного, но и прочел еще больше. Кстати, мой архив для вас открыт, Фаддей Венедиктович. Я вам вполне доверяю.

– И я вам, Александр Сергеевич, но не чужие тайны.

– У человека есть тайны, а у поэта, как уже говорилось –

только рукописи. А они ждут своих читателей. Ведь, согласитесь, то, что написано вдохновенно, должно передать заключенный в пиесе жар сердца другим людям. В том и состоит ценность и смысл нашего ремесла. Поэт пишет, и даже складывая бумаги в стол, питает надежду, что кто-то повернет ключ, достанет ящик, перечтет, разложит по пачкам, сопроводит комментарием, да и, в конце концов, отдаст в печать! А вам, издателю, и карты в руки, вы даете нам жизнь, превращая рукописные буквы в тысячи журнальных оттисков.

– Красиво сказано!

– Это мы можем, – рассеянно сказал Пушкин, словно думая о чем-то другом. – Так я все-таки закуски прикажу?..

– Не стоит затрудняться, Александр Сергеевич, – я не голоден. Я ведь по делу.

– Слушаю вас, Фаддей Венедиктович.

– Вы остановили публикацию...

– Верьте слову, не по своей воле, – сказал Пушкин, приложив руку к сердцу. – Так обстоятельства сложились. Прошу вас подождать с этими стихами. Если публикация не получится – готов заменить эти стихи любыми другими.

– Хорошо, Александр Сергеевич, как вы посмотрите на предложение опубликовать четвертую главу «Онегина» в «Пчеле»? А затем и пятую? Они ведь готовы для печати?

– Я в Михайловском начал седьмую. А сейчас только, признаться, решал вопрос: соединяться ли Евгений с Татья-

ной?.. А вы как думаете, Фаддей Венедиктович?

– Не смею советовать в таком деле... Впрочем, несчастливые истории дают больший простор страстям, чем счастливые финалы, и, верно, лучше помнятся. Оттого шекспировы трагедии прожили века и еще проживут.

– Очень верное замечание. Ну, а как же счастливое воссоединение Одиссея и Пенелопы, которому уже более тысячи лет?

– Воссоединение в старости. Это история не Руслана и Людмилы, а Финна и Наины. Встреча чрез двадцать лет это или комедия или трагедия. Потому я никогда не бережу свое прошлое.

– Признайтесь, а у вас была своя Наина? Холодная свое нравная красавица, которая вами пренебрегла? Так частенько бывает... Ну, признайтесь! Как ее звали? Она была полька или другой национальности?

После некоторого молчания я решил быть по возможности честным.

– Угадали, полька.

– Как ее звали? Быть может – мы знакомы?

Имя Лолины я назвать все-таки не мог. Ведь она не осталась в Париже, а живет под Одессой.

– Верно – знакомы. Она проживает в южных краях, где вам была уготована ссылка.

– В Одессе? Или, может, Кишиневе? – быстро спросил Александр Сергеевич. – Я наверное ее хорошо знаю! Вы ме-

ня заинтриговали.

– Я это не для примера сказал, а просто так. Я не люблю вспоминать, не то на сожаления весь оставшийся век уйдет.

– Простите, Фаддей Венедиктович, если заставил вас говорить о неприятном предмете. Я любовь воспринимаю скорее как игру, чем роковое событие в жизни, – сказал Пушкин. – У кого было много романов, тому ожидать единственную роковую встречу не стоит – он уже всего повидал и новый роман хоть в чем-то напомним какой-нибудь старый, а значит, и финал его будет предрешен. Вы, кстати, не из таких, вам рок еще грозит, не правда ли? И верно, я слышал от общих приятелей, что такая роковая встреча случилась у вашего друга Рылеева в его последний год?

– Не знаю, – только и мог я высказать на бесцеремонность Пушкина. Он мгновенно заметил охлаждение.

– Простите, простите еще раз, что болтаю. Не принимайте к сердцу, все ваши тайны пусть остаются при вас... Я оттого спрашиваю, между прочим, – заметил Александр Сергеевич, – что вы мне очень интересны, но я про вас ничего не знаю. Вы, газетчики, пишете о других, а не о себе, как мы – поэты. А я, кроме того, еще и живу открыто, так, что про меня всяк все знает и свое мнение имеет. О себе-то мне и рассказывать нечего... Хотите о моем последнем романе?.. Нет? Рукописи к вам и так попадут... Вот, могу рассказать о том, как его величество Николай Павлович цензурировал моего «Графа Нулина». Я представил ему такой стих:

*...Monsieur Picard ему приносит
Графин, серебряный стакан,
Сигару, бронзовый светильник,
Щипцы с пружиной, урыльник
И неразрезанный роман.*

Николай Павлович прочел, зачеркнул «урыйльник» и вписал «будильник»! Вот замечание истинного джентльмена! Где нам до будильника, я в Болдине завел горшок из-под каши и сам его полоскал с мылом, не посылать же в Нижний за этрусской вазой!

Пушкин захохотал так весело, что я невольно улыбнулся, этой его истории, слышанной мною от нескольких лиц. Александр Сергеевич не устает ее рассказывать, при этом хохочет, как школьник. А ведь ему уже почти 30 лет! В некоторые моменты он совершенный ребенок с чертовыми искорками в глазу: того и гляди – состроит рожу или стрельнет пулькой из жеваной бумаги. Эта непосредственность и дает, наверное, ему легкость и свежесть восприятия, многообразие и яркость красок, коими наполнен его поэтический язык...

Литературные анекдоты вернули нам легкое настроение, а в итоге Пушкин обещал подумать о публикации очередных глав «Онегина» в «Пчеле». Быть может, я и стану издателем Александра Сергеевича.

Дабы закрепить наше взаимное расположение я пригласил к себе в гости Пушкина и заодно его вечного оруженосца – барона Дельвига.

В назначенный час на званый обед Пушкин явился один. Я вышел его встретить.

– А что же Антон Антонович?

– Застрял в дороге, – пояснил Пушкин. – Ему надобно было посетить аптеку, а я их не люблю. Барон обожает эти заведения и может там хоть час пробыть в полном восторге от новых заграничных микстур и капель, а я и четверти часа не выдерживаю. Антон Антонович некстати расхворался... нет, нет, ничего такого, – успокоил Александр Сергеевич, – не серьезно, а то бы я его не оставил. Прикупит пару пузырьков и будет с нами. Верно, обед еще не остынет!

Пушкин прошел в залу. Я представил ему жену. Александр Сергеевич вел себя очень мило. Ленхен отошла распорядиться, что обед чуть запоздает, а мы с гостем удалились в кабинет – выкурить по трубке.

Пушкин оказал почтение голландскому табаку, а я английскому. Александр Сергеевич заметил, что и тот, и другой выращен не в той стране, по которой мы его знаем. И так со многими вещами – название их сильнее сути и представляется в этой вещи главной. Я ответил, что, замечал через газету, как, дав разъяснение какой-то вещи, утверждаешь его для целого общества.

Пушкин о чем-то задумался и пропустил мимо мой рас-

сказ о последнем анекдоте, случившемся с Крыловым. Потом вдруг сказал:

– Я все эти дни вспоминаю встречу с Вильгельмом. Да и разговор наш. Верно, что деньги ему важнее, чем слава, тем более – тайная. Ведь стихи его можно публиковать только под другим именем, и об этом никто и не узнает кроме узкого круга посвященных. Но он жив, и есть надежда, что будет прощен или допущен к печати на общих цензурных основаниях. Совсем другое дело – ваш друг Рылеев. Его уж не воскресить. Ему посмертная память – самое дорогое, что осталось. Мы оба можем ей способствовать, причем по-разному. Так сложилось, что я вхож в такие издания, куда вам путь заказан. От вас там не возьмут ни строчки, а мне помогут, причем соблюдая полную и вечную тайну. Понимаете, куда клоню?

– Нет еще. Продолжайте. – Я нарочно решил выслушать Пушкина до конца, а уж потом решаться.

– В литературном отношении – не сердитесь, Фаддей Венедиктович, а признайтесь, что так оно и есть – мне ближе, чем вам, литературные круги, которые были сродни и Кондратию Федоровичу. Я могу передать им для публикации его стихи. При этом вы, как их сохранитель, останетесь в тайне не только для цензуры и... правительства, но и для тамошних редакторов – они будут знать одного меня. Обращаться я буду только наверное, тайна останется тайной. Ну, что скажете?

– Да с чего вы взяли, что у меня что-то есть?

– Наталья Михайловна рассказала, – просто ответил Пушкин.

– Ну, тогда скрывать нечего, – после краткого молчания сказал я. – Вот тут архив, который отдал мне на хранение Кондратий.

Я достал из тайника приметный коричневый портфель. Пушкин привстал.

– Позвольте взглянуть?

Я заколебался.

– Честно говоря, я не мог разбирать эти бумаги – были свежи воспоминания... И потому я знаю их не слишком подробно. Оттого передать вам их...

В эту секунду в прихожей зазвонил колокольчик, давший мне необходимый предлог. Я решительно убрал портфель обратно.

– Сейчас неудобное время – Антон Антонович пришел.

– Я ему полностью доверяю, – быстро и с досадой сказал Пушкин.

– Я, безусловно, тоже, но позвольте же мне самому прежде отобрать то, что может быть пригодно для печати.

– Ну, хорошо, – сказал Пушкин. – Я вашу тайну сохраню даже от Антона, но прошу вас, Фаддей Венедиктович, пригласить меня на просмотр бумаг Рылеева в ближайшее время.

– Обещаю, Александр Сергеевич. Спасибо за ваше наме-

рение сохранить его имя для потомков.

– Полно, Фаддей Венедиктович. Он сделал бы для меня то же в подобной ситуации. Как и вы – я уверен.

– К вашим услугам, – я театрально склонил голову.

– Благодарю, – ответил Пушкин, обретая прежний беззаботный вид, – надеюсь, что душеприказчик мне потребуется не ранее, чем через четверть века.

Мы вышли в залу, куда через другие двери немедленно вошел барон.

– Сердечно рад, Антон Антонович! Надеюсь, вы теперь в добром здравии. А то Александр Сергеевич известил о вашем недомогании.

– Я полностью здоров, Фаддей Венедиктович, – ответил Дельвиг, сморкаясь. – Александру от волнения за меня – показалось...

– Вот и прекрасно.

Я представил барона жене, и мы перешли в столовую.

Составляя меню, я подбирал блюда с оглядкой на то, чем потчевал меня Александр Сергеевич в ресторане «Доминик»: хотелось сделать приятное его вкусу. Но и от себя к «Вдове Клико» и бургундским я прибавил испанское легкое вино (пристрастился в Испанскую кампанию), а в блюдах – перепелов, миньоны из парной телятины да стерляжью уху.

Александр Сергеевич был весел и, по обыкновению, шутил. Антон Антонович был настроен как бы флегматично, но кушал с аппетитом и за беседой следил внимательно. За-

метно было, что больше его интересуют слова друга. Когда говорил Пушкин, барон обращался к нему и от внимания переставал жевать. Сам он говорил немного, но все дельно. Со мною был предупредителен, поднимал тосты за хозяина дома, хозяйку и их благоденствие. За Ленхен Пушкин пил стоя, делал ей приятные комплименты. Но жена нас скоро оставила под благовидным предлогом. Литературные беседы ей скучны, а наш круг постоянно в них впадал.

Пушкин, судя о стихах и прозе, выказывал полное знание предмета – он, оказывается, следит и знает обо всем. Я даже осмелился проверить, испросив его мнение об одном малоизвестном авторе. Александр Сергеевич немедленно дал ему короткую полную характеристику. А это противоречит моему мнению, что он только игрок и волокита, по крайней мере, он еще и большой ученый.

Наблюдая всезнайство Пушкина, мне вдруг пришла странная мысль: знает ли он об истории с его «Годуновым»? Ведь и самые тайные вещи иногда бывают узнаваемы. Государственные секреты разглашаются, что говорить о частных. Но нет, что за глупости, зная, он бы не пришел. Он бы счел меня своим первым врагом. Сколько он всего искренне-го наговорил мне в последнее время... нет, нет, невозможно. Даже если кто-то вокруг него, тот же Вяземский, строил догадки, он ни минуты в них не верил, иначе бы не пришел ко мне в дом. А рассказ о Кюхельбекере! Ведь Пушкин признавался мне, что хочет его – государственного преступника –

печатать, это ли не доверие? Или напротив – проверка? Сообщил о намерении и будет ждать: последует ли официальная реакция?.. Да нет, это слишком, Пушкин вовсе не политик, он поэт и относится к человеку, полагаясь на чувство. Александр Сергеевич, похоже, хорошо постиг природу людей, он чувствует их отлично. Вот и тут, со мной, он уверен, что я не хочу ему зла, и он прав. Тем более, когда он знает об архиве Кондратия. Я готов поступиться даже в чем-то своем, чтобы ему не навредить. Неосторожен Пушкин во мнениях и трудах своих. Да и я рисковал, открывая ему тайну архива, однако не мог не проявить через доверие симпатию к Пушкину.

Я так задумался, что даже пропустил шутку Александра Сергеевича, которой он сам же от души расхохотался, чем пробудил меня от размышлений.

– Приятно мне у вас, дорогой Фаддей Венедиктович. Вот был давеча у Крылова: вкусно, но скучно. Иван Андреевич кушать любит больше, чем говорить.

– Это не грех, – отозвался я, – литераторы обычно так много говорят, что несколько молчунов среди них только бы установили равновесие.

– И верно. Барон, скажи, почему люди, которые каждый день пишут, еще и говорят каждый день?

– Пишут – недоговоренное, говорят – недописанное, – пробормотал Антон Антонович.

– Ха-ха-ха! – снова рассмеялся Пушкин. – Точно! Нач-

нешь, бывало, читать какую-нибудь критику: ни начала, ни конца, и мысль как будто отдает бутылкой.

– А ведь мы все также пишем критики, – напомнил я. – Предлагаю поклясться накануне соблюдать обет молчания.

– Это гарантирует только начало критики, – напомнил Дельвиг. – А что делать с концовкой?

– Еще не знаю, Антон Антонович, – признался я.

– Да очень просто, – сказал Пушкин, – обещать окончание в следующем номере, а там сызнова начинать! Одна напасть – как же соблюдать обет молчания? Вы оба, допустим, можете вечер провести с женами. Между супругами обычно уже так много сказано, что и помолчать не грех. А как быть мне – холостяку? А ведь прежде, чем с дамой молчанием заняться, нужно же водопад слов пролить, да не просто, а о последних течениях, поэтических тонкостях. Поневоле оскоробишься и что-нибудь из завтрашней статьи приведешь... Впрочем, – в серьезной манере закончил Александр Сергеевич, – именно из-за того я больше люблю иметь дело с гризетками...

Я хотел возразить, но Антон Антонович взглядом показал, что не следует. Верно, Пушкин находится сейчас в конце очередного романа и думает о женщинах мрачно.

– Так выпьем же за жен! – заключил поэт. – Это лучшие женщины. Должно и я когда-нибудь женюсь. Может, не скоро, сил к таким обильным возлияниям уже не будет, так я скажу ей: милый друг, я столько выпил в вашу честь, что пора бы знать честь... нет, не так, что трезвость моя – утлый

плот, влекомый выпитым бургундским... Лучше стихи:

Что же? будет ли вино?

Лайон, жду его давно.

Знаешь ли какого рода?

У меня закон один:

Жажды полная свобода

И терпимость всяких вин.

Погреб мой гостеприимный

Рад мадере золотой

И под пробкой смоляной

Сен Пере бутылке длинной.

В лета красные мои,

В лета юности безумной,

Поэтический Аи

Нравился мне пеной шумной,

Сим подобием любви!

Ныне нет во мне пристрастья –

Без разбора за столом.

Друг разумный сладострастья,

Вина обхожу кругом.

Все люблю я понемногу –

Часто двигаю стакан,

Часто пью – но, слава богу,

Редко, редко лягу пьян.

Антон Антонович предложил тост за эпикурейство.

– Кстати, ваше испанское вино прелестно освежает, – за-

метил Пушкин. – Вот поэтому все испанцы должны быть веселы и беззаботны.

– Они пьют это вино прямо из бурдюков: подставляют рот под струю и льют в горло – не глотая. Я этому научился, когда воевал в Пиренейских горах.

– Вот я говорил уже, что у вас острый глаз! Учись, Дельвиг, все подмечать, а не «Что вдали блеснуло и дымится? Что за гром раздался по заливу?...» Но при такой наблюдательности у Фаддея Венедиктовича есть еще один волшебный дар – фантазия. Помнится, читал я ваш рассказ о странствиях в ХХІХ веке. Творится там невероятное: на военных маневрах аэростаты поднимают в небо сотни солдат, которые прыгают вниз и плавно опускаются на землю благодаря, кажется, парашютам. По улицам ездят повозки без лошадей, люди употребляют заводные калоши, по небу летают воздушные дилижансы. Зрительные трубы позволяют рассмотреть не только, что делается в далеком городе, но и услышать разговор жителей, а особый лорнет видит человека насквозь, работу сердца и других органов. Люди заселили Луну, а пищу получают со дна морского.

– Однако как вы все точно запомнили, Александр Сергеевич! – воскликнул я.

– Я недавно перечитывал... Если хорошо обдумать и развить это направление, то может получиться интересно. Вы не собираетесь ли продолжать писать такие небылицы?

– Нет, я теперь больше увлечен историей и современно-

стью.

– Однако ж вы описали будущее не без сарказма, – заметил Пушкин, – заменив там всеобщее обращение французского языка арабским. Да еще назвали язык Вольтера однозвучным и беднейшим словами из всех языков!

– Я припоминаю, что и горожан вы не пожалели, – добавил Антон Антонович. – У вас там дома стоят из чугуна, и жители вынуждены ходить по железному городу в шляпах с громовым отводом и металлической цепочкой для сплыва электрической материи на землю.

– Да, это смешно, – хмыкнул Пушкин. – Стоит представить на моем цилиндре еще и железную палку с цепочкой!..

– Ну, если будет такая мода – то и будете носить, – уверенно сказал я.

– Вы и моду не раз вышучивали, Фаддей Венедиктович. Ваше счастье, что дамы не читают пока невероятные небылицы, а то бы они вам этого не простили.

– Верно, потому вы, Фаддей Венедиктович, и не отыскали своих произведений в библиотеке ХХІХ века! – хохотнул барон.

– Это говорит только о скромности нашего хозяина, – вступился за меня Пушкин. – Да и кто знает, может быть, мы еще успеем в оставшейся жизни написать что-то, что переживет века.

– В вас-то я не сомневаюсь, Александр Сергеевич, – ответил я комплиментом.

– Ваши машины для делания стихов и прозы также превосходны, а особенно то, что они изобретены в наше время и передаются по секрету от безграмотного к бестолковому и обратно. Верно, что головы у некоторых наших писак устроены гораздо проще любой машины, и работают скорее механически, чем вдохновенно. И вполне допускаю, что такие же писаки будут встречаться и в будущем. Но неужели вы верите в то, что хоть и через тысячу лет на юридическом факультете университета появятся отделения: добрая совесть, бескорыстие и человеколюбие?

– Я верю в Просвещение, – сказал я твердо.

– Я тоже, но скорее, мне кажется, осуществится другая ваша поразительная выдумка: потомки уничтожили все леса и дерево у них ценится так высоко, что из него делают деньги. Каково: деревянные рубли! Такое я даже вообразить не в силах!

– Спасибо! Превосходить первого романтического поэта в воображении, да по его собственному признанию – величайшая похвала!

– Уверяю вас, Фаддей Венедиктович, это не самое удивительное дело, – заметил барон Дельвиг. – Пушкин всех хвалит, это не штука. Вот когда он начнет вас ругать, это значит – вы добились настоящего его внимания и расположения. Меня он начал критиковать лишь недавно, а ведь мы с детства друзья.

– Это точно, с Лицея, – подтвердил Пушкин. – Вот было

время золотое: друзья, науки, первая любовь, горячка в крови. Надежды. Я ведь, знаете, мечтал о гвардии, а отец сказал, что денег у него нет, что он меня экипировать лишь в армию может. Пришлось с мечтой расстаться и пойти в службу по министерству иностранных дел. Вечно так... давеча мать зывала в Москве в гости, обещая печеную картошку. А что еще она может?.. – лицо Александра Сергеевича скривилось гримасой то ли злости, то ли презрения. – А отец в надзиратели метил, когда я в Михайловском был в ссылке! – с горечью добавил он. – Обещался властям за мною присматривать... А что ваш батюшка, Фаддей Венедиктович, притеснял вас?

– Ничуть, – сказал я. – Отец мой очень обо мне заботился, он был человек добрый, но неровного характера. Однажды мальчиком я заболел. Случилось это так: ночью меня разбудил ужасный рев. Комната моя была освещена наружным блеском. Няньки не было в спальне, я подбежал к окну, взглянул – и вся кровь во мне застыла. Вижу: во всю длину улицы тянутся какие-то страшилища в белой и черной длинной одежде, по два в ряд с факелами, и режут во все горло. А посередине, между множеством знамен эти чудовища несут гроб. Это были всего лишь похороны настоятеля католического монастыря. Но няньки и служанки натолковали мне прежде о ведьмах, чертях и мертвецах и тому подобном, в моем разгоряченном воображении представилось что-то ужасное, я упал замертво. У меня случилась горяч-

ка, и я девять дней пролежал в беспамятстве и бреду. Выздоровление тянулось медленно, через три недели я с трудом ходил по комнате. От испуга за меня отец решил закалить меня от такой впечатлительности. Ни слезы матушки, ни советы докторов и друзей не могли смягчить его на этот счет: не постигаю, как я остался жив, после всех пережитых мной испытаний! Например, он будил меня ото сна или ружейными выстрелами над самой моей кроватью, или холодной водой, выливаемой на меня во сне. Сказав мне однажды, что только бабы и глупцы верят в чертей, колдунов, ведьм и бродящих мертвецов, он посылал меня одного в полночь, зимой и осенью, на гумно, приказывая принести пук колосьев или горсть зерна. Надобно знать, что за нашим гумном было сельское кладбище. Один взгляд отца заставлял меня безмолвно повиноваться. Слез он терпеть не мог, и отговорок не слушал. С первого раза, когда меня облили в постели холодной водой, я заболел лихорадкой, и от первого ружейного выстрела над головой едва ли не лишился употребления языка, но в полгода привык ко всему, и с радостью бежал в темную ночь на гумно, забавляясь страхом матушки и сестер. При этом отец приучал меня к самой грубой пище; брал с собой на охоту, на которой мы проводили иногда по несколько дней в лесу, и, будучи только семи лет от роду, я галопировал за ним на маленькой лошаденке, и даже стрелял из ружья, нарочно для меня сделанного. Отец мой торжествовал, а матушка каждый день боялась за жизнь мою, и

со слезами повиновалась ему. Он страстно любил матушку, но в воле своей был непреклонен. Хотя эта внезапная перемена в моем физическом воспитании не только не повредила мне, а, напротив, послужила в пользу, я, однако ж, сам не следовал этой системе, да и никому не посоветую следовать.

– Э-э, да ваше детство, Фаддей Венедиктович, было потяжелей моего, – сочувственно сказал Пушкин. – Я это очень хорошо чувствую, отец ваш был настоящий деспот.

– Нет, Александр Сергеевич. В оправдание его жестокости могу сказать только, что сам отец вырос сиротою, – сказал я. – Все это делалось не со зла. И это я понял чуть позже, когда отец попал под следствие и сильно душевно переменялся. Все наносное, бравурное ушло, осталась одно чувство привязанности. Оказавшись под домашним арестом, отец не отпускал меня от себя ни на минуту. Он, как дядька, ходил за мной, играл со мной, и я даже спал в его комнате... Он, кажется, предчувствовал нашу вечную разлуку и мое сиротство. Скоро его арестовали, а я попал в Сухопутный шляхетский корпус. Там я испытал мучения гораздо большие, был там один... впрочем, и имени его произносить не хочу... А батюшка любил меня, да Бог не дал нам снова увидеться, отец умер без меня...

Глава 3

Беспардонный Пурпур – кошмар моего отрочества. Морд-винов отдает мне инструкции, подкрепленные угрозой. Предательство Греча. Обед в семействе Дельвигов. Сравнение Карла XII и Петра Великого. Свидетельство моей бабки, видевшей обоих государей. Откровенное признание Пушкина, что он готов был стать бунтовщиком. Тост за зайца, спасшего звезду Российской Словесности. Пушкин под угрозой доноса.

1

...Впервые за долгое время у меня эйфорическое настроение. Я сдал выпускной экзамен с получением похвалы от инспектора Клингера. При выходе из классов кадеты моей роты окружили меня, стали поздравлять и обнимать. Я чувствую восторг. Мы строимся, чтоб идти в столовую, но тут появляется мой кошмар – полковник Пурпур. Его каменный взгляд приводит меня в ужас. Не говоря ни слова, он берет меня за руку и ведет в умывальню. Я падаю на скамью, слышу свист розог, прутья рвут незажившие прежние шрамы, боль проникает до сердца, которое готово умереть. Я кричу зверем, извиваюсь, но град ударов припечатывает меня к скамье, которая мокнет от крови. От страха меня тошнит, я глохну от своего последнего визга и уже не слышу свиста орудия пытки. Рот открывается беззвучно, отчаяние последней меры сдавливает горло, призывая смерть, как избавление. Наконец, она наступает...

Просыпаюсь на спине и перекатываюсь на живот, ожидая боли от рассеченной кожи. Ее нет, но предощущение той давней боли страшнее ее самой. Были раны и другие боли, но ни одна не связана неразрывной цепью памяти с таким

тоскливым ужасом, мертвящим страхом.

Пурпур был начальник моей роты в Сухопутном шляхетском корпусе. Он строго смотрел за чистотой. Каждое утро перед отправкой в классы он осматривал нас. Всякого кадета, допустившего не начищенную пуговицу, расстегнутый крючок, чернильное пятно на лацкане он отправлял в умывальню, где один угол всегда был завален свежими розгами. Пурпур никогда не простил ни одному кадету ни малейшего проступка, слезы и обещания его не трогали. Мы прозвали его Беспардонным. Я никогда не видел, чтобы Пурпур улыбался или кого-нибудь хвалил.

Я был обычной жертвой его розголюбия. Будучи все-таки барчуком, я никак не мог справиться со всеми застежками и крючками, уберечься от чернильных пятен. И от этого сделался для Беспардонного *bete noire*, то есть черным зверем, как говорят французы, и он, охотясь беспрестанно на меня, довел до того, что я почти окаменел сердцем и возненавидел все в мире, даже самого себя!

В день экзамена он избил меня до полусмерти, меня отнесли в госпиталь. Я слышал после, что директор сделал Пурпуру строгий выговор и даже погрозил отнять роту. Но от этого мне было не легче. В госпитале я провел целый месяц и от раздражения нервов чуть не сошел с ума. Мне беспрестанно виделся, и во сне, и наяву, Пурпур, и холодный пот выступал на мне!.. Я кричал во все горло: спасите, помогите! Вскикивал с кровати, хотел бежать, и падал без

чувств... Кошмар этот снился мне и после. Был случай, когда через четыре года по выходе моем из корпуса, встретив в обществе человека, похожего лицом на Пурпура, я вдруг почувствовал кружение головы и спазматический припадок. Я никогда не забуду предание о Медузиной голове, испытал смысл его на себе!

Много лет не было Пурпура, откуда он выскочил чертом? Постой-ка! Опять мы с Пушкиным наболтали! Вот тоже – фигура. В том возрасте, когда я по плацу маршировал, да под пурпуровы розги ложился, Александр Сергеевич у себя в Лицее французские эротические романы читали-с, да мечтали-с о геракловых подвигах. Пусть это зло, но ведь – правда. Это Пушкин – барчук московский, а не я, и Лицей – заведение для барчуков, это вам не корпус с его муштрой и битьем. Царскосельский Лицей ведь создавали, чтобы наследников престола воспитывать! Так что в однокашниках Александра Сергеевича только случайно не оказались великие князья, он бы теперь, может с ними знакомство водил, а не с бароном Дельвигом. Сочувствует Пушкин, что отец над ухом стрелял? Так он же меня один по-настоящему и любил. Ни Шарлота, ни сестры, ни даже мать родная не были такими близкими и родными. С любовью мне не особенно везло, сестры ревновали к младшему брату – любимчику родителей, как им казалось. Потом, после ареста отца, мать отдала не знавшего русского языка, домашнего воспитания сына в кадеты и два года даже не приезжала поглядеть на меня!

А как приехала – в обморок упала, потому что я певчим в православной церкви стал. Это для нее предательством веры показалось, а как то, что она меня бросила? Не предательство родительского долга? А батюшка, сказывали, умер, меня вспоминая. Без него я истинно осиротел.

Что за дар у Пушкина, этого легкого веселого светского человека вызывать из небытия забытые кошмары? Ведь что ни разговор, то в больное место попадает. Или это уж у меня старость пришла, и нервы сдают? Жалость к себе одолевает? Рано еще. Я в одном шаге от вершины, от исполнения моего плана. Раскисать не время, осталось не так много пройти.

А Пушкин, верно, даже не подозревает о своем свойстве пробуждать воспоминания. Во всяком случае, пользоваться этим он вряд ли может, как с такими тонкими материями управиться?..

Надо же, Александр Сергеевич вспомнил мою повесть о ХХІХ веке, которую я и сам-то почти позабыл. Что за прок от дальних мечтаний?

И верно.

Я рывком поднялся с постели, сделал туалет, и, не дожидаясь, когда встанет Ленхен, не завтракая, отправился в редакцию. Приехал туда уже голодный.

– Митька! Чаю с бутербродами, – крикнул посыльному мальчишке из коридора.

На голос вместо Митьки явился вдруг Греч. Он в редакции с утра до ночи торчит, словно повинность отбывает. Это

и понятно – редакция в его доме расположена, ехать не надобно – ходи из двери в дверь. Но рукописи его отменно аккуратны и выправлены. Я так не умею: у меня перо брызжет, абзацы скачут, концы строк съезжают; в черновике – движение беспрерывное, в чистовом листе – колебания, описки. Скучно себя отделявать до лоска. А Николаю Ивановичу все одно: округло по буковке выводит да выводит. К вечеру набирается столько, сколько у меня к полудню. В это утро он мне сразу две статьи приготовил: иностранные новости да разбор новоиспеченного поэта.

– Слыхал, Фаддей Венедиктович, – во Франции опять волнение!

– Да не может быть! – притворно удивился я, – все то же, что и месяц назад? Или это новое волнение?

Николай Иванович задохнулся шуткою.

– Как ты можешь? Так говорить! Я, кажется, не давал повода...

– Не сердись, друг мой, угощайся вот.

Расторопный Митька уже притащил блюдо с бутербродами, которое я и протянул Гречу в примирение.

– Чаю давай, – поторопил Митьку Николай Иванович, принимая бутерброд и присаживаясь к столу. – Ты же знаешь, я шуток в работе не принимаю.

– Знаю, знаю, любезный друг, – кивнул я, уплетая хлеб с ветчиной. – Я не со зла, а от настроения хорошего. Больно комично, ты, Николай Иванович, губы поджимаешь в пра-

ведном гневе. Не сердись, сделай одолжение! Я ведь верю тебе, как себе, даже больше. Я и спутать могу, и погорячиться, а ты – нет, ты – кремень.

– Гулял, верно, вчера, Фаддей Венедиктович? – заговорщицки спросил Греч. – Веселый вечерок?

– Пушкина с бароном принимал, – с неутаенной ноткой самодовольства признался я. – И ответно приглашен к Дельвигу! Надеюсь, что они оба опять будут нашими постоянными авторами. О семеновском деле забываться стало, так отчего нам не дружить?

– Но их партия... Она, как бы сказать, далека от тех правил благонравия, которым надлежит следовать... э-э-э...

– Государь благоволит Пушкину, обещал лично быть его цензором. А до остальных – что нам за забота? Они все вместе одного Пушкина не стоят.

Митька принес чай.

– Пушкин, это – да, это – конечно, – подтвердил Греч. – Такой автор был бы важным приобретением для любого издания.

– Что там у нас сегодня? – покончив с бутербродами, я приступил к делу. – Иностраннный отдел готов, как я понимаю, а Смесь? Есть ли у нас новые моды или какие-нибудь происшествия? Не все же нам прибавляться описанием званных обедов.

– Курьер министерский еще не был, – развел руками Николай Иванович. – Ждем-с...

Следующий день начался с приятного известия. Александр Христофорович пригласил к себе, дабы сделать приятное сообщение относительно высочайшей милости, снизошедшей на меня. Помчался, как на крыльях. Наконец, мои старания замечены! Что это за награда?

– Его Императорское Величество, – торжественно сказал генерал Бенкендорф, – соизволил благосклонно отозваться о «Пчеле», особо указал на передовицу с рассуждением о воспитании патриотических настроений среди молодежи. Государь отметил старания ваши, Фаддей Венедиктович, и полезность Русскому Правительству, просив передать, что уверен в преданности вашей и радении Престолу.

– Всегда рад служить Его Величеству, Правительству и Российской Словесности. Все силы мои, состояние и перо мое безраздельно отданы на службу Государю.

На том аудиенция и завершилась. Проводить меня вызвался Мордвинов – личный помощник Бенкендорфа. Чин небольшой, а, как я слышал, удостоивается особых поручений генерала. Мордвинов как-то так ловко меня направил, что вместо передней я оказался в его маленьком уютном кабинете, расположенном по соседству с приемной генерала.

– Александру Христофоровичу точно известно, как вы радуете за государственные интересы, – сказал Александр Ни-

колаевич, усадив меня в кресла. – Поверьте, его высокопревосходительство всегда благодарен вам за всякое ваше суждение и мнение, потому как мало кто так хорошо, как вы, знает Россию. Вы умеете сочетать сердечное чувство россиянина и острую отстраненную наблюдательность иностранца. (Тут впервые за визит я поморщился.) Сам Государь – вы слышали! – со вниманием относится к словам вашим. Ваше талантливое перо сухой факт превращает в убедительную картину, придает ему должное освещение и значение. Мы – чиновники, Фаддей Венедиктович, и лишены способности к такой игре ума, наш удел – циркуляры, статистика – алгебра жизни, если так можно сказать?

– Это сравнение, прошу прощения, – произнес я, – говорит о том, что вы лукавите, любезный Александр Николаевич, и вам не чуждо понятие литературной гиперболы, это не сухой факт, а поэзия. Не вижу перед вами затруднения ни в чем, хоть роман напишите – он станет сразу первым в русской литературе.

– В стихах? – тонко улыбнулся господин Мордвинов.

Я хихикнул, и тут меня кольнуло первое сомнение.

– Это уж как вам будет угодно, Александр Николаевич, – отвечаю. – По моему разумению вы, с вашими талантами, во всяком деле преуспеете.

– Я так думаю, что каждый должен делать свое дело, Фаддей Венедиктович. От этого и порядок будет, и толк.

– Что же вы хотите, Александр Николаевич? – не сдержал-

ся я от прямого вопроса. Ясно же, что у Бенкендорфа была преамбула, а вот тут начинается дело. А благосклонный отзыв Государя тут и вовсе не причем.

– Только совета вашего благоразумного, – живо отозвался Мордвинов. – Так уж сложилось, что далеко не всем писателям мы можем доверять. Одни якобинствуют, другие преданы, да без ума и таланта ни к чему не способны.

Личный помощник Бенкендорфа сделал паузу, ожидая вопроса, но я молчал, внимательно глядя на лицо Александра Николаевича. Он даже на секунду отвел взгляд.

– Дело касается того обстоятельства, что литературная жизнь проистекает так, что среди литераторов постоянно возникают кружки и партии. Хорошо, когда объединяет их чистое вдохновение, а вот когда взгляды да идеи... Особенно печально, что в таких литературных партиях участвуют представители нашей коренной аристократии, в то время как, казалось бы, гораздо уместнее была бы их прямая служба Престолу. Да что я рассказываю, когда вам это лучше меня известно! В обществе сложились две партии – русская и немецкая. Первая нападает на Престол, воспитывает недовольство в обществе, а вторая – стоит на страже интересов Престола, защищает его. Она состоит в основном из остзейских дворян, преданных Его Величеству. Вы уже как-то писали об этом предмете, но слишком коротко. Вот бы поподробнее да обстоятельнее, чтобы ясно представить сложившуюся картину. Важно указать, что члены этой «русской

партии» ведут себя неподобающе. К счастью, есть кому им противостоять. Вам, как очевидцу литературной полемики это должно быть особенно наглядно. Вы можете прояснить их мнения, довести их до высочайшего слуха. Вы меня понимаете, Фаддей Венедиктович?

– Отлично понимаю, Александр Николаевич, – ответил я, задумавшись. – Верно, литераторы исповедуют идеи, ведь их дело – сочетать живое чувство и мысль. Важно, чтобы основу того и другого составляла любовь к престолу. Мне кажется, что множество литераторов именно так замышляют свои произведения. Однако ж, некоторые открыто предлагают мысли и идеи противные монархическому устройству. Такие взгляды, я думаю, должны быть осуждаемы и наказуемы в первую очередь. К примеру, Николай Алексеевич Полевой высказывает такие крамолы, что... – я развел руками, – и повторить-то невозможно! Мне кажется...

– А мне кажется, я ясно выразил мнение, – с нажимом сказал Мордвинов, давая понятие, что это не его мнение, а мнение, толкованию не подлежащее. – Полевой для нас опасности не составляет, а, напротив, является в некотором смысле союзником противу... сами понимаете..., – Александр Николаевич словно бы смутился. – В общем, Александр Христофорович очень рассчитывает на вашу помощь и компетентное мнение.

Мордвинов стал добавлять какие-то комплименты, а я вдруг поразился догадке: причиной его смущения являет-

ся действительная оговорка. Ай, да Александр Христофорович! Верно – это его идея сделать своим орудием Полевого с его «Московским телеграфом». Смело! И ведь на ум никому такое не взбредет. Только как же ему удалось государя убедить терпеть выскочку–Полевого с его революционными намеками? Неужто Николай Павлович настолько боится всего, связанного с историей 14 декабря? Сильно они его напугали! Тогда истинное чудо, что его величество так благоволит Пушкину, дружившему с самыми активными деятелями семеновской истории. Вот действие настоящего таланта! Он способен склонить к симпатии и самое жестокое сердце...

Однако, и Полевой – наш трибун демократии – хорош: видно считает, что в борьбе с противником все средства хороши. Потому и пускается он во все тяжкие, что удалось ему убедить Бенкендорфа в собственной полезности против Пушкина. Однако осторожности он совсем не имеет. Вся игра стоит лишь на том, что его, яростного критика, почти революционера, представить в сговоре с правительством ни у кого фантазии не достаёт. Признаться, и я бы долго еще не замечал очевидного, кабы не оговорка господина Мордвинова. А Александр Христофорович мудер – у него, значит, влияние есть во всех лагерях, и мнения разные ему служат, и репутации. Как все хитро заплел! Теперь с двойной оглядкой все делать надобно...

А как все это некстати! Я ведь завтра зван к Дельвигу. Знает ли о том Бенкендорф?.. Не знает, так узнает: тайну тут

не сделаешь, кто-то да сообщит. Впрочем, далеко ходить-то не надо, может быть и сегодняшний вызов вовсе не совпадение. Даже скорее – не совпадение! Эх, Николай ты Иванович! Старая ты сволочь... Это я тебе запомню. Это урок мне.

Греч с фон Фоком, управляющим III Отделением, старые приятели, знакомы с 1812 года, когда Максим Яковлевич служил директором Особенной Канцелярии министра внутренних дел. Вот с тех пор Греч «сообщает», а фон Фок протекцию обеспечивает. Неспроста же Гречу позволили выпустить «Сына Отечества» в том самом военном году. О такой мелочи, как встреча литераторов (не тайная, совсем не тайная) докладывать самому Бенкендорфу – глупо, а сообщить старому знакомцу никогда не лишнее. А уж узнав от фон Фока о встрече, Александр Христофорович дал Мордвинову поручение провести со мной беседу. Чтоб я знал на какие моменты в разговоре с Пушкиным обратить внимание, о чем спросить... А «высочайшую милость» – это генерал так приплел, для приманки мотылька. Для них она – разменная монетка. Знал бы Николай Павлович, как они словом государевым разбрасываются.

Право – надоело мне в своих записках расхваливать остзейских карьеристов во главе с Бенкендорфом. Раз он сам дает мне возможность прямо припасть к государеву уху, то, быть может, следует воспользоваться и нашептать? Как бы так написать, чтобы и государь понял, наконец, что бескорыстная преданность бывает только в романах вальтерскот-

товских. Пусть царь их осадит. Коль совсем не ссадит!

– Фаддей Венедиктович! Дорогой мой! – ласково позвал Александр Николаевич, заметив мою задумчивость. – Не слишком ли для вас обременительна моя просьба? У вас ведь столько хлопот!

– Нет, нет, нисколько, – быстро сказал я.

– И газеты, и журналы на вас. Да еще вы наш известнейший писатель, который готовит нам не один сюрприз.

– Что вы, что вы, Александр Николаевич, ваша просьба для меня первее любой личной надобности.

А Мордвинов словно не слышит:

– Вы, верно, заняты судьбой своего нового произведения, Фаддей Венедиктович? Прекрасный роман вы задумали, я читал в отрывках и отзывы лестные уже слышал о вашем «Выжигине», просто не хотел смущать преждевременными похвалами. Да и то, роман – как дитя, его ведь выносить надобно, создать, да и то еще не конец: и цензура впереди, и хлопоты по изданию. Кто знает, как судьба-то распорядится вашим детищем?

– Для меня ваша просьба – честь, – пробормотал я, пугаясь вдруг оборота со словом «судьба». Хорошо знаю, кто у нас вершителем судеб является! – Малейшая возможность оказать услугу Александру Христофоровичу для меня – закон, требующий неукоснительного исполнения в благодарность за его внимание и покровительственное снисхождение.

– А он, – отозвался господин Мордвинов, – уверен в вашем добром внимании к нашим нуждам и благодарен в том.

Александр Николаевич проводил меня до дверей, одарив новым ворохом комплиментов. В моей исполнительности он уверился, а вот как мне теперь вести себя с Пушкиным? Предупредить? Он свое положение и так знает, а мою услужливость может счесть за навязчивость или, хуже того, особого рода хитрость. Вот ведь как нам наше přátельство выходит...

С нелегким сердцем я наавтра к Дельвигу. Хозяева встретили радушно и проводили в гостиную, где Пушкин так вольготно расположился на диване, что, казалось, он тут живет. Впрочем, как я слышал, так оно отчасти и есть, Пушкин с Дельвигом почти неразлучны. Талантом они не равны, но так обычно и бывает, двум медведям в одной берлоге, как говорится...

– Здравствуйте, здравствуйте! – радостный Пушкин вскочил с дивана и обнял меня. – Фаддей Венедиктович, а мы тут с бароном поспорили: кто в Европе более знаменит и почитаем: Карл XII или Петр Великий? Антон утверждает, что Петр, а я думаю – Карл. Какого вы мнения?

– Добрый день, Александр Сергеевич, – сказал я. – Думаю, что прав Антон Антонович...

– Но я вовсе не спорил о... – начал Дельвиг и осекся.

– ...А также и вы правы, Александр Сергеевич, – закончил я.

– Объясните! – вскричал Пушкин, в его глазах сверкнули искорки интереса.

– Карл был блестящий государь, который с самого юного для полководца возраста приучил Европу к своим победам. Он, как позже Наполеон, был непобедим, причем на первых порах и для русского оружия. Потому Карл долго был

первой звездой Европейского небосклона. Никто не верил в возможность его поражения. Тем ярче было впечатление от стремительного заката его звезды. Но от этого же зажглась новая звезда – Петрова. Европа, мне кажется, не сразу приняла в своем мнении Петра. Но по итогу его дел, по усилению влияния России на Европу, даже самые консервативные умы не могли не отдать ему первенство перед Карлом.

– Блестяще! – зааплодировал Пушкин. – Вам бы, Фаддей Венедиктович, царедворцем быть! Представить прямо противоположные мнения одинаково верными – дорогого стоит!

– Простое рассуждение, Александр Сергеевич, не более того, – сказал я.

– Господа, прошу к столу, – пригласила Софья Михайловна.

Мы перешли в столовую и расселись за овальным столом. Само собой вышло, что Пушкин оказался во главе, а Дельви́г рядом с ним. Впрочем, к такой диспозиции в семействе Дельви́гов, видимо, привыкли. Сразу оговорюсь, что разговор за обедом повелся столь интересный, что череду блюд и тостов я попросту не отметил.

– ...Кстати сказать, – продолжил я, не задумавшись о том, куда заведет беседа. – Карл квартировал в доме моей бабки в 1707 году, о чем она мне лично рассказывала ровно 100 лет спустя, в 1807-м.

– Однако! – крикнул барон Дельви́г. – Не знаю чему больше удивиться: знакомству вашей родственницы со шведским

королем или ее долгожительству! Сколько же ей было тогда лет?

– 110. Сразу могу сказать, – ответил я, – что она умерла 115-ти лет от рождения, скоропостижно, но не от болезни, а от испуга, когда в 1812 году партия казаков внезапно и с шумом въехала ночью в ее двор. Была она необыкновенно высокого роста, держалась всегда прямо и всю жизнь управляла сама хозяйством, вела переписку, не употребляя очков. Во всю жизнь свою она никогда не была до того больна, чтоб лежать в постели.

– Завидное здоровье! – воскликнул Дельвиг. – Заслуживает тоста.

– А что же Карл? – спросил Пушкин.

– Карл, рассказывала бабушка, который напугал весь свет, сам был смирен, как ягненок, скромн, как монахиня. Он был довольно высокого роста, тонок и поджар. Лицо у него было маленькое, совсем не соразмерное целому туловищу и даже голове. Красавцем он не был, лицом рябоват. Зато темно-голубые глаза блестели как алмазы. Волосы у него были каштанового цвета, легко напудренные, остриженные коротко и взбитые вверх, а с тыла связанные в небольшую косу. Он всегда был в синем мундире с желтым подбоем и красным воротником, в желтом лосинном нижнем платье. Плащ его, лосинные перчатки, доходившие до локтей, огромные сапожищи с пребольшими шпорами были вовсе не по его росту, и бабушка насмеялась над этим «Голиафовским вооруже-

нием». Ее родители говорили: «Рассматривай короля! Это великий муж, как наши Ян Собиеский и Стефан Батори!»

– Вот! Вот это премилое сравнение! – вставил Пушкин.

– Бабушка запомнила, что Карл вина не пил никакого, а на ужин съедал большой кусок хлеба и выпивал стакан сладкого молока, примешав в него соли. Когда бабушкино семейство узнало о несчастье Карла под Полтавой, то душевно сожалело о нем, а когда пришла весть о смерти короля – все плакали. . . Но удивительно еще и то, что бабушке пришлось познакомиться и с победителем Карла – Петром. Можно сказать, что она узнавала героев эпохи с той же последовательностью, что и Европа.

– Призываете в подкрепление своего рассуждения бабушку? – молвил барон Дельвиг. – И кто же ей больше пришелся по душе?

– Карл!

– Вот! – рассмеялся Пушкин. – Бабушка на моей стороне! Но чем же ей наш Петр не угодил?

– Видно бабушке по нраву были тихие с виду люди. Петр же, говорила она, был человеком «популярным». Встреча с ним состоялась в Слуцке в 1711 году, куда царь прибыл с царицею. В честь этого был устроен бал. Петр, рассказывала бабушка, был великан ростом, молодец собой и красавец, с черными усами и орлиным взглядом, только огромный парик весьма вредил его красоте. Он был в синем мундире, и казался ловок и развязен. Говорил громко, шутил и смеял-

ся. Ему было уже под сорок лет, но по лицу он казался моложе. Бабушку поразило, что и у царя, точно как и у его соперника, Карла, лицо, по росту, казалось несоразмерно малым. Царица, рассказывала бабушка, была очень недурна собой, с большими черными глазами и прелестными плечами, белыми как снег. Она была в белом атласном платье, с малиновым бархатным верхом, вся в бриллиантах и в жемчугах и увенчана маленькой алмазной короной.

Петр, увидев бабушку, подошел к ней, похвалил ее рост, а потом промолвил, что если она хочет замуж, то он доставит жениха по ее росту. Потом подозвал гренадерского офицера, такого же великана, как он сам, и представил его бабушке. Понимая шутку, она отвечала, что напротив, хочет маленького мужа. – «Чтоб держать в руках, не правда ли? – сказал царь, улыбаясь. – Ой, вы, польки!»

За столом царь пил вино из большого бокала. Когда дошла очередь до знаменитого польского тоста: «*kochałmy się*», все встали, по старинному обычаю, и начали обниматься и целоваться, царь также целовался и обнимался со всеми. Польки царя полюбили и жаловались ему на любимца его, князя Меншикова, который забирал у них драгоценности. Царь сказал, что все зло делается против его воли, и что Меншикову не пройдет это даром.

– Замечательно, что вы все это помните, – сказал Пушкин. – Эти живые детали, взятые от очевидца – настоящее сокровище. Обязательно запишите все и тем сохраните для

следующих поколений. Кстати, никогда не встречал рассуждений о сходстве Карла и Петра. Видно, острота глаза досталась вам от наблюдательной бабушки вашей, Фаддей Венедиктович.

– Может быть, Александр Сергеевич.

– Исторические сведения, наблюдения очевидцев важны тем, что помогают понять ход всей истории, движение страны. И, казалось бы, отдаленные события имеют к нам прямое касательство. Петр изменил лицо России, потомки его часто сменяли друг друга на троне силою оружия, а при Александре созрело новое недовольство. И по смерти императора вылилось в прямой бунт против нового государя. Все на свете имеет свои причины и следствия, – заключил Пушкин.

– Но вряд семеновская история отразится на судьбе России, – осторожно сказал я. – Его величество, мне кажется, крепко держит в руках кормило Российского Корабля.

– Теперь – да, но коли победили бы заговорщики, то каково было бы их правление?

– Я полагаю, республиканское, хотя... – задумался я.

– Уверен, что для России лучше монархии ничего нет, – твердо сказал Пушкин. – И заговорщики бы к тому же пришли. Как вы полагаете, Фаддей Венедиктович, какая бы правящая династия возникла: Рылеевская? Вы можете судить, вы близко знали Кондратия Федоровича.

– Нет, пожалуй. Впрочем, душа у него была истинно русская, не глядя на польские корни.

– Стоит ли говорить теперь об этом? – заметил Дельвиг.

– Стоит, барон, – отозвался Александр Сергеевич с душевным волнением. – Для меня этот заговор событие, безусловно, значительное, хотя бы потому, что могло в корне изменить мою судьбу: ведь окажись я тогда в Петербурге, я бы наверно пошел на Сенатскую площадь и стал бунтовщиком! – сказал Пушкин. – Так уж вышло, что в заговоре участвовали многие мои друзья, если бы они позвали меня, то я не мог бы им отказать. Чувство дружбы здесь преодолело бы различие во взглядах. Получилось, что опала и следствие ее – ссылка, которые я проклинал, сидя в Михайловском, спасли меня от более страшного проступка и более страшного наказания.

– Провидение спасло вас, Александр Сергеевич, – сказала, потупясь, Софья Михайловна, прежде молчавшая.

– Провидение и заяц! – вдруг расхохотался Пушкин, переходя в веселое состояние. – Вы знаете, господа, со мной ведь какой случай произошел: я намеревался ехать в Санкт-Петербург, уже поехал, да вдруг дорогу мне заяц перебежал – прямо перед санями, на глазах. А поскольку я отличаюсь крайним суеверием в этом вопросе, так я сани-то и повернул. Вот ведь что удивительно!

– Памятник такому зайцу поставить надобно! – воскликнул Антон Антонович.

– Дурацкая идея, барон, памятники надлежат только героям.

– Тогда давайте выпьем за зайца, спасшего поэта! – предложил я.

Бокалы были дружно сдвинуты, вино выпито с усердием. Пушкин с Дельвигом стали шутить о судьбе зайца, послушавшего орудием провидения, может быть живущего еще в лесу или застреленного каким-нибудь охотником, возможно из числа поклонников поэзии, и даже самого же Александра Сергеевича. Я же задумался о том, что я сам, как тот беляк, могу сыграть роль провидения. Стоит мне только доложить в правильном истолковании слова Пушкина о том, что он готов был выйти на Сенатскую, как с кружком литературных аристократов будет покончено. Ах, какой соблазн! Так одним ударом можно избавиться от целой кучи недоброжелателей и самого язвительного из них – Петра Вяземского. В конце концов, Пушкин человек неблагонадежный, знакомство с ним может доставить неприятности, а вот пользу... А тут верный шанс сам плывет в руки...

Додумать мысль до конца я не успел – был отвлечен явлением нежданного гостя – Авторова. С его приходом разговор стал совершенно литературным, но – редкий случай – когда мне эта тема не доставила удовольствия. Даже сообщение Пушкиным, что он считает дрянью Гнедичеву идиллию «Рыбаки» казалось пресным в сравнении с тем, что он сказал ранее.

Как же все-таки поступить? Донести на Пушкина и тем рассчитаться со всем его кружком, с ненавистным Вязем-

ским? Вот шанс, о котором я полгода назад и мечтать не мог!..

Глава 4

Я разрываю дружбу с Пушкиным в оскорбительной форме; Бенкендорф – причина такого решения. Мои резоны такого поступка; долг писателя – прежде всего. Именины Греча и вынужденная встреча с Пушкиным. Поэт вновь предлагает дружбу; я решительно отказываюсь. Пушкин в ярости, мы становимся врагами.

1

Милостивый государь Александр Сергеевич!

Сердечно признателен за ваше приглашение быть у вас, но не могу принять его, поскольку завтрашний вечер занят у меня неотложным делом. Отказ мой извинителен, поскольку работа издателя сродни государственной службе, мы, журналисты, почти что чиновники особых поручений, каковые находятся в деле и днем, и ночью. Вам, человеку служившему, должно быть это хорошо известно и уважаемо. Потому прошу простить мой внезапный отказ. В любое другое время я в полном вашем распоряжении.

С истинным высокопочитанием честь имею пробывать
Вашим покорнейшею слугою,
Фаддей Булгарин.

Тон записки я выбрал нарочно. А намеки на мои государственные занятия и его службу, которой он всегда тяготился, не оставляют сомнения в том, что я не намерен впредь продолжать приятельских отношений. И желание выяснять причины отказа они также отобьют. Да и не хочется мне во все их выяснять.

По чести сказать – лучше так кончить, чем увязнуть в по-

добном знакомстве. Я почувствовал уже, как приятельство с Пушкиным связывает мне руки. Принимая его, я одновременно принимаю на себя и обязанности добросовестного товарища в помощи и поддержке близкого мне человека. Именно так и только так я понимаю дружбу. Мое положение издателя, доверие Бенкендорфа дают мне возможность оказывать Пушкину услуги, но услуги бы эти совершались за счет моих собственных интересов. Манкировать ими я не могу (хотя бы из-за компаньона Греча, который следит за каждым шагом, заботы о семействе и т.д.), да и не хочу. Влияние мое и возможности не безграничны, вдруг потребуется употребить их сразу на два дела – для Пушкина и для себя – какое тогда выбрать? А если все мое влияние потребуется на то, чтобы добиться разрешения на публикацию моего Романа, а тут забота о делах товарища потребует иного употребления влияния?.. Если бы мы принадлежали к одному кружку, вполне сходились во взглядах – тогда не было бы противоречия, у нас были бы одни интересы. Но так сложились обстоятельства, что принадлежим мы к разным стаям, ведем их, а вожакам пристало драться за свое место, за свою стаю.

Предвидя все эти сложности, и чувствуя на себе все растущий магнетизм Пушкина, я решил оборвать наше близкое знакомство, сменив его прежними отношениями уважающих друг друга литераторов. Так покойнее, так Александр Сергеевич может говорить и писать обо мне все, что позволяют рамки приличий, мои руки также останутся свободны-

ми.

Неприятное решение о разрыве с Пушкиным, на которое было так нелегко отважиться, мне помог принять генерал Бенкендорф.

Он вызвал меня спустя неделю после подачи записки, ка-сающейся значения русской и немецкой партий.

– Весьма благодарен вам, Фаддей Венедиктович, за вашу записку. Уверен, никто лучше вас не справился бы с такой задачей. Очень рад, что вы сами изъявили желание написать рассуждения по данному вопросу.

– Я вовсе не...

– Я непременно доложу об этом государю, – с благожелательной улыбкой твердо сказал генерал.

– Благодарю вас, ваше превосходительство, – осталось мне ответить с поклоном.

– Вы верно описали самую расстановку сил, указав, что среди «русской партии» мы видим зародыши якобинства, а также то печальное обстоятельство, что проводниками ее идей являются в первую очередь литераторы и журналисты... Все верно, Фаддей Венедиктович, умно, тонко. Только отчего же вы останавливаетесь на полдороги и не называете имен злоумышленников? Где тут Киреевский, Соболевский, Титов, Шевереv, князья Вяземский и Одоевский,.. Пушкин, наконец?

– Есть ли смысл в том перечислении, когда вы, Александр Христофорович, и так наизусть знаете список? – сказал я.

– Есть. Его Императорское Величество не имеет времени входить в тонкости, которые известны мне по долгу службы. А знать имена неблагонамеренных подданных ему надобно. Теперь мы поправим это, а впредь прошу учесть это обстоятельство, Фаддей Венедиктович, – с довольной улыбкой закончил Бенкендорф.

– Всенепременно, ваше высокопревосходительство, – сказал я, соображая: чему он так радуется? Кажется, ничего сверх того, что Мордвинов просил, я не написал. А что было указано наверное было с самим Александром Христофоровичем согласовано. А про откровения Пушкина я и не заикнулся. Так чему же все-таки так радуется царский любимец?

Я поймал себя на мысли, что пытаюсь угадать замыслы Бенкендорфа относительно Пушкина. И пока я мысленно не порвал с Александром Сергеевичем, так и будет. Сколько бы я не твердил себе, что следует думать о своем. Что мне до него? Пушкинское доверие я не предал, значит, прямой удар ни ему, ни Вяземскому (вот бы кого прибить не мешало!) не грозит. Остальные замыслы генерала меня не касаются, так как он меня в них не посвящает. Так что пусть все идет своим чередом: Бенкендорф задумывает интриги, Вяземский пишет статьи, Пушкин – стихи. Я же буду делать свое.

Простившись с цветущим генералом (у него опять румянец во всю щеку), я отправился домой, где меня ждала записка от Пушкина с приглашением завтра пожаловать в гости в гостиницу Демута на ужин. Я вспомнил веселящегося

Бенкендорфа и написал отказ. Александр Сергеевич преми-
льный человек, искрометный талант, многие ищут его обще-
ства и я, признаться, полюбил проводить с ним время, но все
это – пустое. Если вдуматься, встречи с Пушкиным прино-
сили мне только неприятности, ночные кошмары и лишние
вызовы к начальству. И Пушкину от этого знакомства ниче-
го хорошего не будет.

2

Греч затеял самолюбивое дело – отметить свои именины, совместив сей день – 6 декабря – с празднованием выхода в свет его грамматики. Тираж он, правда, отпечатал за свой счет, но торговля обещает быть бойкой: недорослей-то у нас несчетно. Небывалое собрание гостей – 62 человека – наврное сделает событие запоминающимся. Званы все известные литераторы и поэты, начиная с самых первых – Крылова и Жуковского, а также ученые и отличные любители словесности. Знакомых было так много, что я не успел даже со всеми поздороваться. Тем более, что у меня на званом обеде были и обязанности. Николай Иванович зазвал меня в число главных поздравителей и распорядителей праздника. Речь я написал короткую, уже одним этим обеспечив ее благосклонный прием. Ну, конечно, произнес все заслуженные Гречом комплименты. Его трудолюбие и усердие, опыт и знания того стоят. Кажется, Николай Иванович остался мною доволен.

Эти хлопоты должны скрасить некоторую отстраненность между нами, которая возникла после разговора с Мордвиновым. Греч, мне кажется, ее уловил: он старался вечно быть рядом, но я больше не делился с ним ничем кроме мыслей о работе. Он не оставлял попыток снова сблизиться с настойчивостью мухи, таранящей стекло. Но я был чист, прозрачен и тверд – доверять свои дела агенту фон Фока я не соби-

рался. Наконец, он устал и начал соблюдать заданную мною дистанцию. Однако не знаться со своим компаньоном я тоже не мог. Мне необходимо придумать такой ход, чтобы не я зависел от Греча, а чтобы он боялся делиться сведениями обо мне. Раз предавшего усостестить нельзя, он может снова проявить слабость. Значит нужно сделать так, чтобы его интересы совпадали с моими, – себя-то он предавать не станет!

Обед получился в меру пышный, а по мере продвижения – даже и веселый. Но разговор за столом, я заметил, велся самый благонамеренный. Орест Сомов, выпив вина, схватился по привычке за бумагу и тут уже сочинил куплеты по случаю:

*В отчаяньи уж Греч наш был,
Грамматику чуть-чуть не съели:
Но царь эгидой осенил,
И все педанты присмирели.
И так, молитву сотворя,
Во-первых, здравие царя!*

И еще три куплета, которые я уже не запомнил. На разогретые головы гостей стихи эти произвели самое хорошее впечатление. Куплеты государю повторялись всеми с восторгом и несколько раз. Тотчас после стола куплеты начали списывать на многие руки. А передо мной вдруг возник улыбающийся Пушкин.

– Добрый день, Фаддей Венедиктович.

– Здравствуйте, Александр Сергеевич.

– Прекрасную речь сказали, – похвалил Пушкин. – Глав-

ное – короткую, чем выгодно выделили себя.

– Спасибо.

– Очень удачно, что я вас тут встретил, Фаддей Венедиктович.

– Александр Сергеевич, я...

– Нет, нет, Фаддей Венедиктович, не подумайте, пожалуйста, что я в обиде за ваш отказ и собираюсь предъявлять вам мое уязвленное самолюбие. Ничего подобного, Фаддей Венедиктович. Я так часто страдал и страдаю от чужих несправедливых мнений, что взял за правило: каждый человек имеет право поступать как ему заблагорассудится, лишь бы это не задевало моей чести. Здесь о ранении чести речи нет. Поскольку я успел узнать в вас человека разумного и благородного, уверен, что отказ ваш имел причину. Я хочу лишь спросить: не является ли этой причиной мое неосторожное поведение в отношении вас? Не сочли ли вы себя задетым каким-то словом? Уверен, что, зная друг друга ближе, мы не стали бы особо обращать внимание на пустяки, его не заслуживающие. Итак, не обидел ли я вас ненароком, Фаддей Венедиктович?

– Положа руку на сердце – нимало, Александр Сергеевич.

– Вы сняли с моей души тяжесть, Фаддей Венедиктович. Ибо я не хотел бы доставить вам, человеку, мою глубоко уважаемому, малейшую неприятность. Тем паче, что сам я нахожусь в хорошем расположении духа. Прошу вас, не сердитесь на меня, не лишайте меня своего общества. И отбросьте

любые причины, мешающие этому, прошу вас! Мне кажется, что наше знакомство неслучайно, что оно имеет твердую основу в схожести душ, служении одним музам. Что мешает нам впредь быть товарищами? Нет, я не спрашиваю, я только прошу вас еще раз мысленно взвесить эти неизвестные мне причины, их следствие и, напротив, то чувство удовлетворения, душевную радость, доставляемую нашим общением. Мы лишь познакомились, а я чувствую, что мне уже не хватает вашего мнения, точного наблюдения, участия... Загляните себе в душу, и, если вы испытываете схожие чувства, то не глушите их – пусть даже доводами разума. Это доводы ложные, поскольку мешают нам вольно проявлять свои чувства, испытывать чистую эмоцию общения, дружеского тепла, радости от того, как вольно сплетаются мысли в разговоре, как игра ума свежит, вострит мысль, приводит к новым открытиям и прозрениям. Отбросьте пустое, давайте знать-ся, как прежде! Не требую ответа, но жду от вас известия: где вы брали то замечательное легкое испанское вино? Благодаря вам я стал его поклонником... Простите, моя очередь списывать куплеты – свезу их показать Карамзиной. До свидания, Фаддей Венедиктович!

– Пойдите, Александр Сергеевич! – попросил я. – Ваши слова, поверьте, глубоко меня трогают, но мнения не изменяют. Я по-прежнему буду отдавать долг прежде делу и после – дружбе. И хоть испытываю схожие с вашими чувства, прошу прежде не искать во мне дружеского расположения.

Судьба расставила нас по разные стороны барьера.

– Вот как?! – пушкинские глаза побелели от ярости. – И это ваш ответ на мои искренние излияния? Хорошо, коли мы у барьера – я сделаю вам вызов!

Пушкин удалился к столу, на котором лежали куплеты.

Я не мог разрушить репутацию Греча, как не мог – без ущерба для своего имени – рассказать о своих разговорах с Бенкендорфом. Тут уж лучше стать уважающими друг друга врагами, чем недомолвками омрачать начинавшуюся между нами дружбу!

Глава 5

Неожиданный визит Каролины Собаньской, которая просит содействия своему брату Генриху Ржевусскому. Я пытаюсь все устроить. Воспоминание о горячке любви и угаре патриотизма, который пал под ударами генерала Витгенштейна. Каролина втягивает меня в дела польского заговора. Мое бездействие может оказаться для нее роковым, и я поддаюсь ее обаянию.

1

От последнего нашего разговора с Пушкиным прошло месяца четыре. Вызов он мне не прислал, да я и не ожидал этого. Злость его, видно, была велика, но стреляться от того, что ему отказали в дружбе – затея унизительная для самолюбивого поэта. Да и повод неподходящий. Вот – оскорбление, ядовитая шутка, косой взгляд – это отличный случай призвать к барьеру, а прямой и вежливый отказ приходится переживать про себя.

Пушкина я видел несколько раз в театре, но мы не здоровались. Это заметил даже Греч и бросил неуклюжий намек. Я сделал вид, что не заметил его слов, а Николай Иванович как-то пристально посмотрел на меня. Что ему там померещилось – Бог весть, но он еще пару раз пытался расспросить меня о Пушкине. Я ответил молчанием.

Постепенно я привык к отсутствию Александра Сергеевича в моей жизни и более не переживал из-за этого. Должно быть, я успел вовремя оборвать опасную дружбу, не успев всерьез привязаться к нему. А возможно, опустевшее в моей душе место заняла приязнь другого свойства. Последнее время я поглощен ею полностью и ни о чем другом думать и помнить не могу.

Как и в дружбе с Пушкиным отправной точкой рассказа следует считать забег Сомыча в мой кабинет. Можно сказать,

что в моей истории Орест играет роль вестника из греческой трагедии.

– Фаддей Венедиктович, мне совет нужен по статье о Дельвиговых стихах.

– Изволь, Орест Михайлович.

– Нет-нет, к вам сейчас важная дама приехала, так я завтра лучше...

Я вскочил и стал натягивать сюртук, который за работой я сбрасываю.

– Так в номер завтрашний опоздаешь!

– Зато уж как припечатаю его! – погрозился Сомов и исчез, я и цыкнуть еще успел.

Только я привел в порядок платье, как дверь снова распахнулась, и в кабинет вошла светская дама, что сразу было ясно по манере держаться и изящному наряду, подчеркивавшему статность фигуры. Лицо ее было скрыто вуалью.

– Здравствуйте, Фаддей Венедиктович.

Голос произвел на меня ошеломляющее впечатление. Дама откинула вуаль – сомнений не осталось: «Боже мой, это Лолина!», – закричало мое сердце. Мне показалось, что я покачнулся.

– Пан Булгарин, я ваша землячка, – по-польски сказала она, – и потому так запросто осмелилась вас побеспокоить, – Собаньская подошла, протянула руку и любезно улыбнулась. И сквозь эту светскую гримасу я отчетливо увидел ту улыбку, что грезилась мне много лет.

– Я очень рад, – пробормотал я и приложился к руке, затянутой в кружевную перчатку.

– Я – Каролина Собаньская, прошу вас пожаловать ко мне послезавтра в салон. Я решила принимать у себя в первую очередь земляков, ведь в Санкт-Петербурге живет много поляков.

– Чтобы оказаться в вашем обществе, теперь всякий будет зваться поляком.

Каролина рассмеялась жемчужным смехом. Я невольно любовался ею. Она ничуть не стала хуже – если когда-то я знал барышню, то теперь передо мной была зрелая женщина в самом расцвете красоты. Она, видно, привыкла к обожанию как артист к аплодисментам, который механически делает для них паузу, – так и Собаньская отвела несколько секунд на восхищение собой. Затем продолжила.

– Я пока не знаю здешнего общества, так как третьего дня приехала в столицу из Одессы. Думаю, что здесь найдется много знакомых – старых и новых.

– Одного вы уже нашли. Буду весьма рад, – пробормотал я, все еще не оправившись от невероятного явления своей первой любви и не понимая – помнит ли она меня?

– Я также рада, что мой земляк занимает столь известное положение в литературном и журнальном деле Российской империи.

Я поклонился и хотел возразить, но пани Собаньская не дала мне говорить.

– Не отрекайтесь, это так, иначе бы я не явилась к вам неизвестной просительницей. Я все о вас знаю! И у меня к вам дело.

– Внимательно вас слушаю, – я подождал, пока дама сядет, а потом опустил в свое редакторское кресло и почувствовал, что устал от сковавшего меня напряжения.

– Вне света я люблю говорить по существу, – сказала Собаньская. – А в данном случае это еще и сократит неловкость... Как я уже сказала, я пришла к вам просительницей и надеюсь, что просьба моя не будет обременительной. – Каролина сделала паузу. Я ждал. – Мой брат Генрих Ржевусский недавно по наущению Адама Мицкевича решил стать литератором. Пан Мицкевич разглядел в нем талант и дал брату несколько полезных советов. Вас он упоминал как человека знающего и отзывчивого. Вот почему я решила обратиться к вам напрямую, без посредников.

– И правильно сделали. Я готов служить вам.

– Брат написал первый роман под названием «Воспоминания Соплицы». Прошу вас стать рецензентом, а при благополучном исходе дела подобрать русского переводчика и издателя. Ведь вы всех знаете.

– Тут и знать никого не нужно, – воскликнул я, – рецензия моя будет самой благожелательной, а переводить роман вашего брата буду я сам. Если талант в нем видит Мицкевич, то этому мнению наверное можно доверять – я хорошо знаю Адама, у него отличный вкус.

– Я бы не хотела затруднять вас, Фаддей Венедиктович. Ведь ваше время дорого...

– Ничего подобного, – возразил я, – я перевел и опубликовал множество поляков даже без всяких просьб с их стороны, неужели же откажу брату такой... просительницы, – я вдруг запнулся и не решился сделать комплимент. – В общем, дело с переводом решено. Осталось определиться с изданием романа... Я владею несколькими журналами – ваш брат может ими располагать. Что же касается издателей... Я похлопочу. Если польское издание выйдет раньше и будет иметь успех, то и хлопоты не понадобятся, любой издатель такую книгу возьмет с радостью. Впрочем, я все вам доложу, как только узнаю.

Только после ее ухода я почувствовал, как бешено бьется мое сердце. Оно, оказывается, свое еще не отскакало! А я-то, дурак, думал, что ничто уж не может меня так разволновать.

2

Буквально в один день я повстречался с несколькими издателями и заручился их поддержкой нового талантливой автора. Моей рекомендации, подкрепленной мнением Мицкевича, для этого вполне достаточно.

Через два дни я облачился в парадный сюртук и отправился на прием к Каролине. Устроилась она на широкую ногу – сняла просторный дом, в котором можно было не только приемы, а и балы устраивать. Я не переставал любоваться Собаньской: как она по-королевски держится, как она равно мила со всеми – все мне кажется в ней замечательным. Она приветствовала меня с очевидной радостью.

– Фаддей Венедиктович, вы мой самый желанный гость!

Я поклонился.

– Надеюсь таким и остаться – я с хорошими вестями, пани Собаньская.

– После переговоров, Фаддей Венедиктович, – сказала Каролина, расточая улыбки свежим гостям, – останьтесь после приема.

Светские приемы – не моя стихия, хоть, казалось, где же журналисту место, как не в эпицентре сплетен? Но я не охотник. Обычное это дело пустое – обсуждают то, о чем уже написано или чаще, о чем писать не след. Но в этот вечер я не скучал – глаза мои были наполнены образом, по которому

скупали столько лет. Решительно – если Каролина и изменилась, то только в лучшую сторону. На ней было красное с глубоким багряным оттенком платье – цвет византийских императоров! – и газовый шарф, своей прозрачностью смягчающий королевское величие. Все-таки польки – аристократки от рождения, убеждаюсь я не в первый раз, а Каролина – первая среди них.

Проводив гостей, Собаньская пригласила меня в маленькую гостиную, скорее будуар, где был накрыт чай.

– В Одессе я пристрастилась к крепкому чаю, – сказала Собаньская, усадив меня за маленький круглый столик на двоих. – Или вы предпочтете вино?

– Пусть чай, – согласился я.

Пока Каролина ухаживала за мной, я обежал комнату глазами. Она была со вкусом обставлена в темных и золотистых тонах. За бархатными шторами пряталась дверь, верно – в спальню. «Преддверие тронного зала», – почему-то пришло на ум.

– Я переговорил с несколькими издателями – все готовы способствовать вашему брату. Особенно господин Смирдин – он вообще любит новые прожекты устраивать. Если же он вдруг откажется, то у моего компаньона Николая Ивановича Греча есть типография – в том доме, где вы были с визитом, – он никогда не откажет в помощи и издаст книгу на самых льготных условиях. Ну и – мои журналы...

– Я вам благодарна от всего сердца, Фаддей Венедикто-

вич. Вы так быстро все устроили... Чем я могу отплатить вам?

– Это ничтожная услуга, какие могут быть счета, – сказал я. – Мне было приятно хлопотать для вас.

– Спасибо, Тадеуш, – тихо сказала Собаньская.

Я вздрогнул, как от крика.

– Так вы... узнали меня?

– С первой минуты, Тадеуш. Но у вас был такой неприступный вид, я подумала, что вы или забыли, или не хотите вспоминать прошлое. Извините, если я невольно напомнила то, о чем хотелось забыть.

– Нисколько, – отрывисто сказал я. – Это дорогие для меня воспоминания.

– Я сама ничего не забываю. Я помню молодого польского офицера, который чувствовал себя Наполеоном – перед ним лежал мир, который предстояло завоевать. Это прекрасное чувство, жаль, что с годами оно проходит – ведь полжизни уже прошло, а полмира еще не объято!

– Это вы чересчур – полмира, – меня самого захватили воспоминания. Я словно опять стал молодым, исполненным надежд, думавшим, что одной смелости достаточно, чтобы взнуздать судьбу. – Даже в мыслях я не залетал столь высоко. Мои мечты были скромнее, но и они не исполнились: и вас не удержал, и карьеры большой не сделал. Журналистика – ремесло презренное в свете. Я ведь мечтал носить эполеты.

– В Европе журналисты стоят выше – то же будет со време-

нем и здесь, – Собаньская повторила мои собственные мысли. – А в журналистике вы – генерал.

Каролина отпила чаю.

– Я часто вспоминаю то время, потому что и сама о многом тогда мечтала. Но у женщины гораздо меньше свободы для исполнения мечты.

– А на что же мужчины – вам стоит только приказать...

– Серьезно, Тадеуш, у вас теперь есть мечта?

– С тех пор как увидел вас – даже две.

– Перестаньте, столько лет прошло.

– Я тоже так думал, но сейчас понял, что время не имеет абсолютной власти. Во всяком случае – не всегда.

– Давайте лучше поговорим о первой мечте... Разрешите – я угадаю? – спросила она с внезапной живостью.

– Пожалуйста, – улыбнулся я.

– Я помню в честь кого отец назвал вас Тадеушем – его кумиром был Костюшко. Вы сын своего отца – это я тоже помню, значит, и вы мечтаете о свободе своей родины!

– Нет, вы ошиблись, Каролина. Такая бесплодная мечта свела бы меня в могилу.

– Поляк не может так говорить! – возмутилась Собаньская. – Наша родина под игом российского самодержавия – каждый должен думать о ее свободе. Польша славная и сильная страна. Вспомните историю: поляки даже в Кремле гостили – вот какие были у нас предки! Теперь нужно только освободить свои границы. Вы давно были на родине? Давно

слышали польскую речь вокруг себя? Там по-прежнему множество патриотов, которые готовы отдать жизни ради свободы Речи Посполитой. Неужели вам не снятся белые орлы, неужели вы не с нами, Тадеуш?

Речь Каролины взволновала меня. Я увидел ее в новом свете. Ее образ приобрел еще большее величие, она – настоящая патриотка. Находясь, как я слышал, сама в зависимости от графа Витта, она жаждет свободы не для себя, а для несчастной родины. Такая целеустремленность, сохраненная до зрелых лет, говорит о цельности натуры, сильной воле, подчиняющей жизнь раз и навсегда выбранным идеалам.

– Так вы с нами, Тадеуш?

– Я довольно гонялся за белыми орлами, но даже сам Наполеон не смог дать свободу Польше. Если она и грядет, то не на нашем веку, – сказал я честно, что думал.

– И чем же вы тогда живете? – Каролина наклонилась вперед и смотрела на меня в упор. Лицо ее пылало возмущением.

Я не знал что сказать, но чувство мое было подкреплено убеждением, которое зародилось в июле 1812 года под деревней Клястицы, на дороге между Полоцком и Себежем.

Я залпом выпил чашку чая, собираясь с мыслями.

– Да, Каролина, я мечтал о свободе Польши и честно во-
евал за нее. Наполеон обещал после покорения России вер-
нуть Рече Посполитой независимость, поэтому поляки были
самыми отчаянными храбрецами в его армии. Я служил в
Восьмом Польском уланском полку в составе корпуса мар-
шала Ундино. Именно ему прочили славу героя этой кампа-
нии. Ундино исполнял обычную тактику Бонапарта: в каж-
дой войне, в каждой стране он старался быстрым броском
захватить столицу государства. Корпус маршала отделился
от основной армии и, не доходя до Смоленска, двинулся на
север – на Санкт-Петербург. Провидение было за нас – кор-
пус насчитывал 28 тысяч солдат, тогда как Первый пехотный
корпус графа Витгенштейна, преграждавший нам путь, со-
ставлял 17 тысяч человек. Помимо этого, совместно с Унди-
но действовал корпус маршала Макдональда, который чис-
ленностью также превышал армию русских. Макдональд и
Ундино должны были прижать отряд Витгенштейна к лево-
му флангу основных сил французов и уничтожить. Цель бы-
ла ясна, а победа – как никогда близко. Стоило очистить до-
рогу на Псков и Петербург, как столица Российской империи
сдалась бы нам без боя, а возможно вместе с ней пал и им-
ператор Александр. Как я узнал позже, в Петербурге думали

также, поэтому заранее начали эвакуировать государственные учреждения.

Витгенштейн, видя, что поражение неизбежно, решился на отчаянный шаг – он бросился на корпус Ундино прежде, чем тот соединился с Макдональдом. Но и здесь у него, казалось, нет шансов, нас было больше почти вдвое. Я вступил в сражение 18-го июля у села Якубова. Бой за село длился с 14 часов дня до 11 вечера с переменным успехом. Гродненские гусары генерала Кульнева бросались на нас из леса, как стая волков, но мы вцепились в Якубово и удержались там. Подо мной убило двух лошадей, я застрелил казака, поймал его лошадь и снова бросился в бой. Я столько рубился, что правая рука совершенно онемела, тогда я взял саблю в левую, и продолжал убивать. Одни русские валялись, на их месте вырастали новые – цепи все шли, кавалерия наскакивала волнами – я чувствовал себя человеком, сражающимся со стихией. Эти волны накатывали, и хоть мы стояли твердо, но словно все больше погружались в пучину. Руки не двигались, легкие, отравленные гарью, не могли дышать – изнеможение было полным. И вот в этот момент я впервые подумал, что русский бог сильнее, что русские, дерущиеся с таким упорством, не отступят. Короткая передышка, которую я провел на земле, будучи не в силах искать более удобного ночлега, не вернула сил.

В три часа ночи сражение возобновилось. Русские теснили, словно это нас было меньшинство. Якубово мы броси-

ли. Маршал Ундино отступил к Клястицам, и велел сжечь единственный мост. Но русские бросились вперед и по пылающему мосту! Артиллерия, ударившая по мосту, не остановила их – сражение продолжилось. Поляки бились отчаянно, они бросались в самое пекло, своими телами останавливая движение русских, но это не удавалось. Авангард Кульнева, найдя брод, стал обходить наш фланг. Ундино понял, что Клястицы не удержать, и приказал снова отступать. На следующий день, попав в засаду, был разбит авангард Кульнева, сам генерал погиб, но преследуя врага, наш Вердье наткнулся на основные силы русских, что стоило нам двух тысяч пленными. Дорога на Петербург была заперта, и до осени Ундино не продвинулся на север даже после того, как император прислал ему в помощь свежий корпус Сен-Сира. В то время, когда Наполеон победоносно двигался на Москву, мы уже знали, что эту войну суждено проиграть... Позже мы присоединились к отступающей Великой армии и ушли из России; вместе с польскими уланами ее покинула и надежда на освобождение Речи Посполитой.

– Это уже история, – сказала Собаньская, потрянув головой. – Точно также можно вспомнить, что после Смутного времени в составе Польши оказались смоленские и черниговские земли. На родине выросло новое поколение патриотов, и для них свобода не пустой звук.

– Если мой рассказ вас не убедил, то прошу вас прислушаться к доводам рассудка: Россия сейчас сильна и объеди-

нена жесткой волей царя Николая. Бунт 25-го года был единственной возможностью поколебать самодержавие, она упущена, быть может, на целый век. Это то, что я знаю наверняка. Новое восстание в Польше будет обречено.

– Это не важно. Правда не в рассуждениях о свободе, а в действиях, ее приближающих, – сказала Каролина. – И нельзя целому поколению сказать: «Подождите полвека!», они готовы действовать и будут действовать сейчас!

– Каролина, вы рискуете...

– В ваших силах уменьшить этот риск.

После колебания я спросил:

– Что вы хотите?

– Есть препятствие, которое сдерживает нас, для его устранения я и приехала в Петербург. Хлопоты по делу брата – это только предлог, хотя я благодарна вам за участие в судьбе Генриха безмерно. Итак, дело касается Рылеева, поэтому я обращаюсь за помощью к его близкому другу – пану Тадеушу Булгарину.

– Но Рылеев давно казнен!

– Зато остались его бумаги.

Я вздрогнул. Архив Кондратия не дает мне покоя.

– В свое время польские патриоты пытались скоординировать с русскими заговорщиками время восстания. Они готовы были поддержать Северное тайное общество, если бы Рылеев обещал в будущем дать Польше свободу. После поражения восстания в России многие польские заговорщики, бо-

сь арестов, уехали в Европу. Теперь они мечтают вернуться, но боятся – вдруг их имена известны по бумагам Рылеева? Тогда их ждет арест. Значит и восстание будет сорвано. Вы – самый близкий Рылееву человек, вы должны знать, у вас должны быть его бумаги, поэтому я прошу помощи.

– Я остался на свободе только потому, что стоял вне заговора, поэтому мне никакие его подробности неизвестны, – сказал я. – Что касается бумаг... не стану вам лгать, бумаги у меня есть, но это стихи, черновики – литература, одним словом. Все остальные бумаги Рылеева хранятся, как говорят русские, за семью печатями.

– Эти бумаги необходимо достать!

Каролина в этот момент была прекрасна: глаза ее сверкали, обычно матовые щеки залил румянец, вся ее фигура выражала уверенность в победе.

– Невозможно, – сказал я. – С вами шутит дурную шутку горячая польская кровь.

– Я в отчаянии, – отвечала Собаньская. – Я должна помочь заговорщикам, но не знаю как. Я боюсь сделать оплошность и провалить дело. Вот сейчас я, например, раскрылась перед вами, уповая на прошлую дружбу, но люди с годами меняются.

– Каролина, я никогда не предаю вас! – воскликнул я. – И я готов сделать все, чтобы вам помочь!

Польская кровь и со мной сыграла злую шутку – я ввязался в авантюру не только бессмысленную, но и опасную.

Впрочем, сожаление о том, что, помимо воли, эти слова вырвались, длилось одно мгновение. Каролина так посмотрела на меня! В ее взгляде были и благодарность, и надежда, и восхищение, и обещание... Я разглядел в нем все, что только желает увидеть влюбленный мужчина в глазах женщины.

Я почувствовал, как меня тоже заливает румянец, лицо мое горело, тело напряглось, словно уже сейчас нужно было идти в бой. Голова чуть кружилась – точно также, когда я пришпоривал коня и выхватывал саблю, несясь на врага. В эту минуту всегда веришь в победу, и я мгновенно представил, что все может получиться. Когда-то я не смог завоевать эту женщину, но теперь, в расцвете сил и славы, я могу взять реванш.

Глава 6

Размышления приводят к тому же, что и стихийный порыв – я собираюсь помочь Каролине. Нападение на Охранное отделение и другие способы добыть бумаги Рылеева. Пример Мордвинова показывает, что жадность и страх сильнее оружия. После ничтожной услуги Мордвинов вынужден идти на преступление. Неисполнимая задача блестяще разрешена, Собаньская выражает свой восторг, а я жду заслуженную награду.

1

Домой от Собаньской я вернулся в волнении, но постепенно оно улеглось, и я смог рассуждать здраво. Самое поразительное, что холодный расчет полностью совпал с горячечным порывом, на который меня вызвал взгляд огненных глаз.

Однако, честно признаюсь, первой мыслью была та, что мне выгоднее всего донести на заговорщиков. Как бывший французский офицер я вечно на подозрении – вот случай доказать свою преданность Александру Христофоровичу и Русскому Престолу. Раскрытие такого заговора Российскому государству, без сомнения, полезно. А значит и мне, и моей семье, ведь я твердо решил больше родины не менять и связать свою судьбу с Россией. Кроме того, этот донос полезен и полякам... да, да, полякам тоже, рассудил я. В его результате пострадает узкий круг заговорщиков; если же пламя разнесется по всей Польше, то при его тушении погибнет в сотни и тысячи раз больше поляков, втянутых в восстание. Пусть лучше поступают на военную службу, в девушек влюбляются, в университетах, наконец, учатся... А то, что пожар будет потушен, я не сомневался. Несмотря на ставшую притчей во языцех польскую воинственность регулярная армия, еще помнящая победы над Наполеоном, куда сильнее необученных ополченцев.

Так что мой донос всем выгоден, но... Если тем полякам, которых он может спасти от смерти, представить возможность выбирать – многие предпочтут право умереть за свободу родины благополучной жизни, но без шанса увидеть эту родину свободной от иностранного ига. Да и я сам 15 лет назад выбрал бы бой. Как взвесить – какая судьба счастливее?

Я не боюсь признаться перед собой в циничных мыслях, но брать их в расчет не могу. От доноса первой пострадала бы Каролина, а этого я и в мыслях не допускаю. Она такая нежная, хрупкая, но при этом отважная и жертвенная! Каково ей будет в руках палачей! На каторге! Нет, нет, и мысли не допускаю! Я знал ее раньше лишь с внешней стороны, любовался грацией, изяществом ума и манер, то теперь я узнал ее по-новому, и эта ее сторона поразила меня. Под маской светской львицы таится горячая душа, живущая мечтой о свободе Польши; она не принимает расчетов, не слушает доводов рассудка – ее цель слишком велика и благородна. Она не растеряла тех идеалов юности, которые я еще вижу, но уже не стремлюсь достичь. Но теперь Каролина будет указывать мне путь, именно так я смогу стоять к ней как можно ближе. Она будет моей путеводной звездой, а я буду ее защитой – стоит мне отпустить Каролину, я уверен, она тут же сделает неверный шаг и погибнет.

Невольно я поймал себя: я то же думал когда-то и в отношении Пушкина. Может быть это моя стезя – помогать тем, у кого есть цель, до которой необходимо долететь. Они – Ика-

ры, я – Дедал. Я мастерю крылья, а они находят путь к мечте.

Так что судьба моя отныне связана с Каролиной, а чтобы она продлилась – необходимо найти решение проблемы.

А propos! Я забыл о самом простом пути! Я забрался в потаенный ящик и достал архив Рылеева. До сих пор я не спешил беречь раны, связанные с потерей друга, теперь настал час, когда необходимо внимательно пересмотреть каждый лист, оставленный Кондратием Федоровичем.

Дело это заняло остаток ночи до утра. Я перевернул архив, но касаясь польских дел ничего не нашел. Да я и не верил, что судьба позволит так легко покорить Собаньскую. Зато среди сонетов я нашел удивительный документ, который отложил в секретный отдел бюро.

На следующий день я принялся составлять план – как достать необходимые бумаги Рылеева.

Вот уж никогда не думал, что имея тайный архив, буду гоняться за остальным эпистолярным наследством друга Кондратия.

Я одет в шинель фельдъегеря, на поясе у меня пристегнута моя уланская сабля, под шинелью спрятано два пистолета. Чувства обострены; мне кажется, что я снова нахожусь в разведке на вражеской территории. По чести – здесь даже опаснее. Если на войне есть возможность вернуться в свое расположение, то здесь мы ставим себя в гораздо более отчаянное положение.

Здание Третьего отделения хоть и не военной фортификации, но и в него без хитрости не попасть. Нас всего четверо; чтобы не оставить о себе сведений, решено называть друг друга – Первый, Второй, Третий и Четвертый. План продуман до мелочей, он настолько опасен, что я чувствую себя моложе, и он настолько дерзок, что ему суждена удача. Я во всем уверен – иначе не поставил бы свою жизнь на карту. Не далее, как сегодня ночью я добуду весь архив Рылеева и брошу его к ногам Каролины.

Нам везет, что здание Третьего отделения находится отдельно от других строений и заключено в периметре просторной ограды. Теперь зима и от дома идут всего две дороги – от парадного подъезда и запасного хода с задней стороны здания. Достаточно двух человек, чтобы перекрыть все выходы. Для этого потребуется половина нашей команды: Третий и Четвертый, которые сейчас едут сзади в кибитке (у них

там бомба, необходимая для запасного плана). С началом дела они должны броситься вперед и занять позиции перед домом и позади него. Основное дело – за нами – Первым и Вторым. Я – Первый, конечно.

Мы оба одеты в форму фельдъегерей, чтобы сначала не вызвать подозрений. Ранние сумерки уже скрадывают детали, тем не менее, наши лица прикрыты башлыками – словно бы от мороза. Я спешиваюсь, взбегаю на крыльцо и звоню в колокольчик. Мой товарищ становится рядом. Открывается маленькое окошко.

– Чего надо?

– Срочный пакет господину управляющему фон Фоку! – сквозь окно я показываю заготовленный бумажный пакет с большой сургучной печатью.

За дверью чувствуется движение, другой голос, видимо дежурного офицера, говорит:

– Везите к Максиму Яковлевичу на квартиру, здесь его нет.

– Мы там были, господина управляющего нет, а оставить пакет на квартире без росписи ответственного лица мы не имеем права.

Это «ответственное лицо» видимо подкупает офицера.

– Хорошо, – говорит он и командует караульному, – открывай!

Двери, наконец, распахнуты, а это почти половина дела. То-то Каролина обрадуется! Я вбегаю внутрь уже с писто-

летами в руках. Один направляю на офицера, который, кажется, спросонья и плохо понимает, второй – на караульного солдата. Еще один караульный хватает ружье, прислоненное к стене.

– Не смей! – реву я. – Оружие – на пол! Второй, собери!

Мой товарищ подбирает оба ружья. Офицер, наконец, понимает, что это нападение, он делает шаг назад, выхватывает саблю и ударяет меня по руке. Я роняю пистолет, но скорее от неожиданности, чем от боли – удар приходится плашмя. Не желая его смерти, я не стреляю, а отражаю выпад офицера своею уланской саблей.

– Стреляй же! – кричит мне Второй.

Но я передаю ему пистолет и бьюсь саблей. Офицер молод и атакует яростно, я делаю вид, что отступаю. Он бросается вперед, я отвожу удар, и когда офицер по инерции пролетает мимо, бью его в голову или куда-то еще рукоятью. Уже без сознания он продолжает движение до стены, ударяется и остается неподвижным у ее основания. Караульные понимают, что имеют дело с серьезным противником и уже не делают попыток сопротивления. Я снимаю с офицера пояс и связываю им локти хозяина за спиной. Затем беру у Второго свой пистолет.

– Где архив? – спрашиваю я солдат. Они ведут нас по коридору, оканчивающемуся железной дверью. – Дайте ключ!

Солдаты мнутя.

– Не в службу, а в дружбу – посмотри у офицера, – прошу

я Второго. Второй уходит, а я приставляю пистолет к ближайшему караульному. – Офицера я пожалел, а тебя не буду, где ключ?!

– У...нас нет... у Максима Яковлевича он. Дежурным не положено...

– Вот черт!

Второй возвращается и пожимает плечами. Я беру ружье и стреляю в замок. Дверь стоит, как скала. Заряжаю и стреляю снова. На выстрелы прибегает Третий.

– Вы же обещали никого не трогать!

– Не волнуйся, все живы, – говорю я и поворачиваюсь ко Второму. – Надо ехать к фон Фоку.

Я чувствую гончий запал и не могу остановиться. Впервые со времен военной службы передо мной ясная цель и простые средства для ее достижения. И награда, какая награда впереди!

– Я не поеду, – говорит Второй. – Уговора не было.

– Я же не знал, что ключи только у него.

– А вот следовало бы! – желчно говорит Второй. – Это я человек не военный, а вот ты должен был предусмотреть.

– Поздно отступать. Нам еще повезло, что ключ у него – фон Фок живет без семьи и почти без прислуги. Раз дело начали – надобно закончить.

– Хорошо, – соглашается Второй. – Но я против – ты запомни.

– Третий, остаешься за старшего, – командую я. – Если

мы не вернемся через три часа – уходите по домам и забудьте где были. Пока закройте двери и никого не пускайте.

– Так точно Фа... господин Первый.

Я показываю Третьему кулак.

– Лишнего не болтай.

Мы со Вторым садимся на лошадей и едем на квартиру фон Фока, расположенную всего за две улицы от Третьего отделения. Там я повторяю фокус со срочным пакетом. Лакей легко открывает дверь фальшивым фельдъегерям (план работает!), и мы входим в переднюю.

– Сейчас доложу, – говорит слуга, но в коридоре уже слышатся шаркающие шаги хозяина.

Второй закрывает поплотнее дверь, а я бью лакея по затылку рукоятью пистолета.

– Кто вы? В чем дело? – строго спрашивает фон Фок.

– Нам нужен ключ от архива вашего отделения, – объясняю я. – Отдайте ключ или я вас убью!

– Вы кто?

– Отдайте ключ, – тихо повторяет Второй, – и мы вам ничего не сделаем.

– Николай Иванович? – брови фон Фока лезут вверх.

– Ключ!

Фон Фок вдруг откуда-то достает пистолет, наводит на меня, мы стреляем одновременно. Максим Яковлевич падает.

– Фаддей, что ты наделал! – кричит Греч.

Этого и Каролина не одобрит, думаю я.

– Надо было взорвать архив фугасом, – приходит мне поздняя мысль. – Правда, где гарантия, что все опасные документы погибнут?

– Фаддей, что ты наделал! Не только я под этим не подпишусь, даже Сомов не подпишется! – продолжает Греч. – Какие фугасы, если, по сведениям Родофиникина, крепость была сдана в результате переговоров?

– Что ж, по-твоему, лучше в Максима Яковлевича стрелять?

– Да господь с тобой, Фаддей, ты бредишь?

Я вскинул голову. Передо мной стоит Греч в обычном сюртуке, а не в фельдъегерской шинели, я сижу в кабинете за своим столом, и Николай Иванович сует мне в нос какую-то бумагу.

– Не было фугаса!

– Был! Мы его в кибитке везли...

– Фаддей Венедиктович, у тебя жар, что ли? Ты не болен?

– Нет... прошло уже... кошмар... Так ты о чем?

– Родофиникин нам сообщил, что турецкая крепость была сдана без боя, я это изложил литературным слогом, а ты тут вписал про какой-то фугас, архив – я ничего не понял.

– А Сомов?

– А Сомов – тем более.

– Это хорошо. Ты ему и не говори ничего. – Я потряс головой. Бессонная ночь далась мне трудно. Видно, я уснул за редактурой, и вся эта чертовщина... Надо же – я во сне Максима Яковлевича пристрелил! И эти четыре номера... Надо понимать так, что Третий был Орест Сомов, а Четвертый – слуга Ванька. Больше-то мне с собой на баталию брать некого. Да и кой черт понес нас в Третье отделение, когда царь учредил его уже после завершения следствия по делу заговорщиков – летом 1826 года. А сидели они в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях, там, верно, и бумаги все. Но с командой из четырех номеров мне ни одной крепости не взять, хоть следует признать, что даже в кошмаре я держался молодцом!

Однако могло так получиться, что какие-то бумаги в Третьем отделении все-таки есть, но для того чтоб узнать, нужно захватить кого-то в плен и допросить... Тьфу, свят! Свят! Какой плен? Хватит уже в солдатики играть... Я снова покрутил головой, протер глаза.

– Ты точно здоров? – Греч все еще стоял передо мной.

– Я посмотрю заметку... или ты сам верни как было, это я что-то напутал, извини, Николай Иванович.

– Врача не позвать?

Я отмахнулся, и Греч ушел.

Нет, думаю, дело надо по-другому вести. На военном поприще, хоть и провоевал полжизни, я высоких чинов не снискал. На статской продвинулся куда дальше, вот и надо

решать задачу не военными приемами, а мирными.

3

Не важно – где хранятся документы, важно определить, кто имеет к ним доступ. Бенкендорф – несомненно. Фон Фок – да, но действовать через них невозможно, они тут главные враги. Даже Греч, будучи в приятельских отношениях с Максимом Яковлевичем, не смог бы добиться от него какой-либо сделки. Во-первых, фон Фок исправный служака, во-вторых, ставка слишком велика. С любым чиновником необходимо начинать разговор с малого – это надо запомнить. Следом за главными фигурами идут исполнители, такие как Андрей Андреевич Ивановский. На них повлиять возможно, да только имеют ли они доступ к документам? Ведь если такого человека вывести на откровенность он, вероятно, расскажет нужное, но ведь и сам тут же донесет о моем интересе, поскольку он его удовлетворить не в силах. То есть надобен такой человек, чтобы должностью был невысок, а доступ к документам, тем не менее, имел. Я мысленно представил расположение коридоров и комнат Третьего отделения, и мысленно по ним прошелся – вот тут-то и забрезжила подсказка. Кто к начальству близок – у того и доступ. А чей кабинетик рядом с приемной Бенкендорфа? Личного помощника его высокопревосходительства – Александра Николаевича Мордвинова. Сей помощник, помнится, излагал мне, что написать про русскую и немецкую партии. Вот теперь моя

очередь отыгаться...



Я пригласил Александра Николаевича в ресторан, и встретил его в отдельном кабинете.

– Вы меня заинтриговали своим приглашением, Фаддей Венедиктович! – сказал Мордвинов с легким смущением.

– Надеюсь вас не разочаровать, Александр Николаевич, повод не пустой, – ответил я и, болтая о литературе, держал интригу до второй перемены горячих блюд.

– Мне очень жаль, что я не смог полностью оправдать доверие его высокопревосходительства на той встрече с Пушкиным, – сказал я.

– Какой встрече? – поперхнулся Мордвинов.

– Той, перед которой вы давали мне инструкцию. Но поверьте, случилось это только от усердия – видимо я слишком явно задавал Александру Сергеевичу вопросы о русской партии, и это сделало его осторожным. Вы, можно сказать, поссорили меня с перспективным автором.

– Да побойтесь Бога, Фаддей Венедиктович, я ни о какой встрече с Пушкиным вам не говорил – разговор был общего тона. Мне это оскорбительно... – Мордвинов даже привстал из-за стола.

– Прошу извинить, Александр Николаевич, если разговор вам не нравится, – сказал я со всей искренностью. – Вы, пожалуйста, кушайте.

Личный помощник уселся обратно, на аппетит его покинул.

– Я не для упрёка это вспомнил, дражайший Александр Николаевич, – продолжал я. – Просто вы в курсе того дела, и потому у меня к вам нижайшая просьба. Прошу не отказать в любезности, – я наполнил бокал гостя лучшим шампанским.

– В чем же дело?

– Я прошу вас показать мне – только показать – сообщение Греча о моей той встрече с Пушкиным. Это ведь он сообщил?..

– Я не знаю... Да вы что, Фаддей Венедиктович? В своем уме? Как вы смеете предлагать мне!..

– Именно предлагать, – перебил я его вопль. – Услуга-то пустяшная. – Я достал из внутреннего кармана конверт с пухлой пачкой ассигнаций. – От нее никто не пострадает, лишь я чуть больше буду знать о своем компаньоне. Здесь 10 тысяч рублей.

– Я обязательно сообщу Александру Христофоровичу о вашей попытке подкупа должностного лица.

Я выпил вина и стал медленно отрезать свиную ножку.

– Позвольте откланяться, – Мордвинов опять вскочил.

– Не позволю, Александр Николаевич. Я же вам еще главного не сказал. Я со своей стороны также добавлю услугу – я не сообщу Александру Христофоровичу как вы рассказали мне, что Полевой является вашим агентом.

– Я не рассказывал.

– А откуда же я это знаю?

– Я не рассказывал!

– Ну – намекнули.

– Свидетелей нет.

– Так и теперь нет. Неужели вам его высокопревосходительство поверит на слово?

– Мне он доверяет больше.

– А Полевой? Если я его разоблачу через третьих лиц, да источник укажу?

– Никто не поверит!

– Что Полевой – агент? Легко поверят, я в ту же секунду поверил. Как еще можно объяснить тот факт, что открытый якобинец, революционер не только не в ссылке, а еще прямо свои мысли высказывает через журнал? Кто его опекает?

– Ну...

– Какое у вас жалованье?

– Это не важно.

– Спрошу по-другому: в сколько лет службы вы получите 10 тысяч? Два-три года? Или пять?

– Это еще и шантаж. Я ведь считал вас порядочным человеком, Фаддей Венедиктович! И потому только согласился на ужин в вашей компании.

– А вот этому свидетели как раз найдутся.

Мордвинов замолчал. Я ждал результат внутренней борьбы. Страх и жадность против страха потерять место. Жадность, по моим расчетам, должна перевесить.

– Вы меня ставите в безвыходное положение, – пробормотал наконец Мордвинов. – Хорошо, я покажу вам документ. Но я делаю это еще и потому, что мы все-таки скорее коллеги, чем враги, и вместе трудимся на благо Престола.

– Конечно, – сказал я и подсунул ему под локоть деньги. – Выпьем за это.

Мордвинов положил конверт в карман и поднял бокал.

– Так я и знал, что этот Полевой мне боком выйдет! – сказал он с каким-то облегчением. Это же моя была идея – привлечь его на свою сторону против партии Пушкина.

– Да вы просто гений, Александр Николаевич! – воскликнул я и тоже с облегчением. – Если бы не тот разговор я б вовек не догадался, ей Богу. Да никто больше и не догадается – настолько хитро придумано!

Мордвинов польщено улыбнулся. Теперь он совсем заважничает, решит, что генеральского размера взятка дана ему по праву – за его непомерный ум.

4

Для демонстрации документа Мордвинов сам пожелал выбрать место. Что это могло быть еще, как не другой ресторан с кабинетами?

Встречу назначили на следующий день, и Александр Николаевич был так любезен, что сам заказал ужин. Еще бы – с такого неожиданного прибытка!

Документ, и правда, оказался любопытным – Греч, донося, снабдил меня самыми превосходными эпитетами и характеристиками. Надо бы запомнить пару оборотов, чтобы при случае процитировать. Я прочел бумагу и передал обратно Мордвинову.

– Большое спасибо, Александр Николаевич.

– Пожалуйста, Фаддей Венедиктович. Я слово держу.

– Я в вас не сомневался, – сказал я. – Но у меня к вам еще есть просьбишка.

Лицо Мордвинова покривилось.

– Могу порекомендовать прекрасного зубного лекаря, – сказал я с заботой.

– Какая еще просьба? Мы ведь в расчете!

Я достал конверт вдвое толще первого.

– Я знаю, что при расследовании семеновской истории по изъятым у мятежников архивам составлялись подробные описи документов. Мне необходимо взглянуть на описи до-

кументов, взятых у моего друга Рылеева. Эти описи также вернутся в архив в целости и сохранности, как и записка Греча.

– Вы с ума сошли! Ну ладно – донос одного литератора на другого, но касаться мятежа – побойтесь Бога, Фаддей Венедиктович, я этого никак не могу.

– Здесь 20 тысяч ассигнациями. Вы себя на всю жизнь обеспечите доходом.

– Увольте, Фаддей Венедиктович. Мне проще самому сознаться, что я вам записку Греча продал! – Мордвинов глядел на меня умоляюще.

– Бросьте, кто ж вам поверит, что вы 10 тысяч получили за такую безделицу, как донос одного литератора на другого. Всяк поймет, что это был аванс!

– Фаддей Венедиктович! Да как вам не совестно! Вы ведь все подаете не так!

– После того, как я вам свою просьбу изложил...

– Я никому не передам!

– ...Я уже не могу отступать. Да ведь вы знаете, я – из военных, у меня характер решительный, да еще кровь польская. Деньги вы взяли, записку Греча вынесли, на Полевого намекнули. Вы ведь тоже теперь отставкой не отделаетесь. Вы, Александр Николаевич, давеча правильно сказали – мы теперь коллеги, так чего нам ссориться?.. Мне ведь нет интереса вас подводить – иначе и я сам пострадаю, ну? Мы действуем в согласии, и вы получаете еще 20 тысяч! Жалованье

за 10 лет в два дня! Кто бы узнал из служивых, что вы отказываетесь, – на смех бы вас поднял, право слово.

– Я головой рискую!

– Как и я.

У Мордвинова видно пересохло во рту. Он налил полный бокал бургундского и выпил залпом.

– Это все?

– Все, – спокойно соврал я. – Вы же умный человек, Александр Николаевич, я же вам зла не желаю...

– Хорошо, давайте! – решился Мордвинов.

Я вытащил из пакета половину содержимого и протянул помощнику Бенкендорфа.

– Остальное – когда увижу опись.

– Ну, вы и бестия, Фаддей Венедиктович!

– Очень уж вопрос щекотливый, боюсь ошибиться... Закусим?

Мордвинов спрятал деньги.

– У меня теперь аппетит – как после драки, – сказал он и опять схватился за бутылку.

Не прошло и трех недель от нашего вторичного знакомства, как я уже явился к Собаньской с описью Рылеева. Увидев пачку бумаг, Каролина пришла в восторг. Я намеренно прежде не посвящал ее в ход дела, хотя бывал у нее чуть не каждый вечер.

– Фаддей Венедиктович, да вы волшебник! Откуда это?

Я скромно потупил глаза. Каролина взялась за бумаги.

– Что это?

– Описи документов, взятых у Кондратия Федоровича при аресте. Их составляют, чтобы в поисках нужного не перечитывать заново весь архив.

– Но где же сами документы? – Собаньская стала ворошить листы. – Нам ведь они нужны!

– Дорогая моя, только Геркулесу под силу принести архив, который к середине жизни собирается у всякого культурного человека. У Следственного комитета для этого были солдаты и подводы. Я же вам предлагаю подойти к делу не грубой силой, а умом: здесь, в описях, содержится краткое изложение бумаг Рылеева. По ним мы сможем понять – интересен этот документ или нет.

– Прекрасно! – Каролина взяла мою руку. – Тадеуш, вы восхищаете меня все больше! Вы не только благородны, вы еще и ловки как самый прожженный парижский интриган!

– Это комплимент? – улыбнулся я.

– Конечно. Толковых людей мало. У одних честность, у других ум, у третьих ловкость, четвертые умеют действовать. Вы – из толковых, вы умеете все сразу! Я нашла в вас бриллиант!

– Теперь вижу, что комплимент.

– Погодите, я вам и не такое скажу! – Собаньская окатила меня самым нежным взглядом. – Сейчас время не ждет, давайте читать.

Мы на два раза перечитали списки – слава Богу, Кондратий о польских делах сильно не распространялся, они, видно, мало его интересовали. В другом случае польское восстание случилось бы в 1825 году, а не теперь. Однако мы наметили десяток документов, которые требовали более подробного изучения. Собаньская еще раз горячо меня поблагодарила и проводила до дверей.

– Я теперь только на вас уповаю, – сказала она. – Верьте, Проведение с нами, иначе бы оно не послало мне вас. – Каролина на прощание поцеловала меня в лоб и перекрестила.

Неся эту драгоценную печать, я не стал надевать шапки. Хорошо, что извозчик ждал меня. Я прыгнул в возок и назвал место, где уже два часа в съемной карете мерз Мордвинов – ждал назад описи.

– Александр Николаевич, спешу вас обрадовать! – сказал я, пересев к нему в стылый экипаж.

– Опять, верно, просьбишка? – наконец-то он стал пони-

мать мою тактику.

– И премия. Мне на просмотр нужны вот эти десять документов.

– Без ножа режете! – взвыл Мордвинов.

– Плачу по тысяче рублей за штуку. Правда, принять могу только оптом – если одного документа не достанет, то оплаты не будет.

– Фаддей Венедиктович, когда это кончится? – Мордвинов заглянул мне в глаза. – Вы же понимаете, что я каждый раз рискую. И чем дальше, тем опаснее.

– Это последний раз, Александр Николаевич, – ответил я. – Но без него все прежние дела – пустые хлопоты. Так что будьте особенно осторожны, скоро все закончится, вы будете без боязни ходить на службу или не ходить – как хотите, с деньгами все можно!

– Пропадите вы пропадом, – ответил он мне. – Прощайте, мне пора!

– Завтра в семь вечера в «Доминике», кабинет номер пять, – сказал я, выходя из кареты.

– Послезавтра, – поправил Мордвинов.

...Последняя встреча с Александром Николаевичем состоялась по уговору и была сугубо деловой. Мордвинов выглядел усталым. Я передал ему деньги, он – документы, и я

поспешил к Каролине. Она была уведождена и ждала меня. Вместе мы прочитали все документы и, на счастье Мордвинова, в них не оказалось никаких важных сведений – ни фамилий поляков-заговорщиков, ни их планов. Мне кажется, что, если бы я не вернул часть документов или испортил бы их, Александр Николаевич мог сорваться. Слаб он оказался. Все рискуют, да не всем такие премии достаются! По-хорошему, мне с него за возврат документов можно было отступного потребовать – чтоб знал, как присягу нарушать!

– Вы сделали невозможное! Что я вам должна, Булгарин? – спросила меня Каролина.

– Считайте это подарком от Тадеуша, – ответил я. – Вы же знаете, я не верю в успех заговоров.

– Тем не менее, спасибо вам от Польши... и от меня, как единственного свидетеля вашего подвига.

– Вот и хорошо, что единственного.

– Теперь я буду считать, что вы можете все, а от этого и соблазн снова обратиться к вам за помощью. Как вам это удалось? Ведь одному это не под силу?..

– Я всегда к вашим услугам, Каролина, – поклонился я.

– Вы – волшебник! И я хочу, чтобы в вашей жизни также было чудо. Сегодня – день забот, но завтра все будет другое. Приходите перед приемом и вы услышите то, что я читаю в ваших глазах – я ведь тоже немного волшебница. Можете звать меня как прежде – Лолиной.

Глава 7

Моя провинность перед Каролиной Собаньской. Появление Пушкина в числе гостей. Поэт становится моим успешным соперником. Каролина требует залог в доказательство истинности моей любви. Я совершаю предательство и пожинаю плоды. Неожиданный визит Пушкина. Возвращение архива. Обоюдная ярость приводит к поединку. Неожиданное примирение. Мое доказательство преданности Пушкину. Поэт прощает меня и уверяет в своих лучших чувствах. Мои терзания в любовном треугольнике. Визит Мордвинова. Объяснение с Каролиной.

Лолина! Она готова вернуть мне свою любовь! Я прожил день, твердя вновь обретенное дорогое имя. Влюбленному человеку для счастья любви много, достаточно одного слова.

С полудня я начал собираться на свидание вышел за час и наткнулся на курьера из Третьего отделения.

– Фаддей Венедиктович, извольте, вам письмо от его высокопревосходительства! – курьер протянул мне свернутый лист.

Я нервно сломал печать и развернул записку. «Дорогой Фаддей Венедиктович, прошу Вас по получении немедленно явиться на аудиенцию по срочному делу. Бенкендорф».

– Любезный, вы передайте его высокопревосходительству, что я приеду немедленно.

– Никак нет, приказано сопроводить.

Я вдруг стал озиаться, словно ища выхода. Перед крыльцом стояла карета Бенкендорфа, курьер ждал. Наконец я кивнул ему и сел в экипаж. «Может, это арест?», – промелькнула первая мысль. Мордвинов мог оставить следы, а потом проговориться на допросе. Впрочем, для произведения ареста золоченая карета генерал-аншефа совершенно не нужна. Я стал гадать, но никак не мог придумать, зачем я понадобился Бенкендорфу. Может быть, вопрос решится быстро, и я успею к Лолине до приема?

Меня встретил дежурный офицер и провел в приемную Александра Христофоровича.

– Его высокопревосходительство во дворце, – сообщил он.

– Как надолго? Можно ли мне отлучиться на время? – быстро спросил я.

– Никак нет, – услышал я во второй раз. – Приказано ждать.

– Но... – начал я, а офицер, не слушая, прикрыл дверь.

Я прождал час в нервном хождении от двери к окну. Так случилось, что генерал, вызвав, уезжал во дворец, но никогда его приглашения не были столь категоричными. Можно подумать, что император вызвал его также срочно, как он меня. От скуки я расспросил дежурного, и он подтвердил мою догадку. Время уходило впустую. Наконец через два часа караульный офицер вошел и передал мне вторую записку:

«Драгоценный Фаддей Венедиктович, милостиво прошу простить, Его Величество оставил меня ужинать, дабы закончить обсуждение государственных дел. Таким образом, наши с Вами дела я вынужден отложить.

Искренне благосклонный, Бенкендорф.»

– Его высокопревосходительство просил располагать его экипажем.

– Спасибо, – бросил я на бегу и вылетел на улицу. Карета опять ждала меня. Я заскочил внутрь и назвал адрес Собаньской. Карета мчалась быстро, но двух часов ей не навестать.

– Я удивлена, что вы не спешили нынче! – встретила меня Лолина упреком с порога залы. Я с трудом получил ее руку для поцелуя.

Я горестно вздохнул, как можно более драматично развел руками, стараясь показать и всю безмерность своего отчаяния, и смягчая этой гиперболой, как шуткой, холодный тон Лолины.

– Прошу простить меня, сударыня, но вы могли видеть – я примчался в казенной карете...

Но она смягчаться не собиралась. Взгляд чистейшего льда скользнул мимо.

– Вы сами выбрали.

– Я не мог...

Но Собаньская обратилась к гостю, что появился за мной. Позади нее маячили другие нетерпеливые фраки. Мы были окружены и безнадежно лишены уединения.

– Каюсь без вины! – сказал я, а Лолина расплылась в посторонней улыбке.

– Здравствуйте, князь! Рада вас видеть!

Мне пришлось отступить в сторону и пропустить мою холодную фею. Что за комиссия, Создатель!

Первую половину вечера я еще старался приблизиться к моей Лолине. Но, противу обычая, она не спрашивала с меня завтрашние новости, не смеялась шуткам, особым образом откинув головку. Она старательно беседовала с другими дамами и в моем присутствии она сказала одной: «надо

же! ее судьба уже была почти решена!», другой: «поведение этого господина не может быть прощено», третьей: «кто истинно любит, не заставит ждать проявления своей любви». Жестокими стрелами эти слова поражали самое сердце, но я вынужден был молчать – мне не удавалось остаться с Лолиной наедине. Да она и избегала этого со всей непринужденностью светской дамы.

Более я не стремился под эти стрелы, но и не покидал прием, оставаясь до конца, словно солдат на поле битвы. Если мне не суждено сегодня победить, так пусть она хотя бы убедится в моей неизменной привязанности.

Подумать только: те единственные два слова, которые могли осчастливить меня, вчера почти сорвались с ее прелестных уст. Она разрешила называть ее Лолиной – это почти признание! Но сегодня я опоздал, она обиделась. Дело понятное, она, верно, тоже ждала этого свидания, но не будет же она долго ребячиться, ведь мы взрослые люди и между нами все, кажется, ясно? И то, что обещано – должно быть сказано.

Не имея другого развлечения, я наблюдал за хозяйкой салона. Мне показалось, что, укорив меня, и заметив мое уныние, она повеселела.

Это мы потерпим.

Я разглядел, что глаза ее и все лицо, обычно завораживающее холодным совершенством богини, сегодня как-то особенно живы; щеки горят свежим румянцем, светлые глаза из

сверкающих льдинок стали двумя огоньками, притягивающих теплом и какой-то новой открывшейся глубиной.

Лолина, мне кажется, следила за мной и, наконец, обратилась прямо:

– Что за новости вы сегодня узнали раньше прочих, Фаддей Венедиктович?

– Для меня главная новость – видеть вас, – отвечаю я с поклоном. – И ждать новостей от вас... – начал было я, но тут разговор пресекся бесцеремонным вмешательством стоявшего по соседству полковника Черноухова:

– Да, скажите, Фаддей Венедиктович, есть ли верные сведения о турецкой кампании? – направил он мне вопрос, и Лолина тут же упорхнула со словами: «Будут вам еще новости». Я счел это обещание за доброе предзнаменование.

Подкрепив рассказ об азиатском театре серьезными доводами, я, обещал полковнику скорую победу, что должно было ободрить его солдатское сердце.

Тут у дверей в залу создалось какое-то движение. Хозяйка устремилась туда – и неспроста, видно, явился важный гость. Еще несколько человек, находившиеся ближе ко входу, двинулись навстречу. На секунду в веренице людей оказалась брешь, и я с содроганием узнал темный профиль с большим приплюснутым носом и буйную шевелюру, никак, впрочем, не добавлявшую роста ее обладателю – Пушкин. Сроду тут не бывал – от самого приезда Собаньской. Черт нагадал мне на сегодняшний день! Матка Боска!

Вокруг него тотчас забурилась людская пена и даже «мой» полковник, оставив военный интерес, двинулся к новому гостю. Рядом с последним оказалась и хозяйка. Между ними затеялся живой разговор, вовсе не такой, какого достаточно для соблюдения приличий при встрече незнакомого. Тут я не сдержался и смешался с толпой обожателей нашего первого поэта, оставаясь, впрочем, за спиной последнего из них. Кажется, пани Каролина и Александр Сергеевич говорили что-то об Одессе – вот в чем дело! Значит, Пушкин угадал тогда, что знает мою роковую любовь лично. Они, верно, неплохо знакомы, судя по тому, как живо меняются репликами. Пушкин говорит и говорит, а Лолина не только не покидает его, а, кажется, все больше увлекается его словами. Прочие гости вдруг стали забыты.

Наш первый поэт всегда был победоносно словоохотлив в обществе красивых женщин. Что-то кольнуло мне в сердце: насколько близко они были знакомы в пору его ссылки? Столичная знаменитость наверняка имела успех в местном обществе – во всяком случае у дам.

Глупо, но как только эта мысль пришла мне – я уже не мог от нее отделаться. Какое дело мне до того, что меж ними мог быть мимолетный роман десяток лет назад? Да после такого перерыва это ничего уже не значит. Да и было ли что там, где молва шептала совсем другие имена – Воронцовой, Ризнич и прочих?

Я приметил, что Собаньская, выполняя обязанности хо-

зыйки салона, едва ли отходила от Пушкина более, чем на пять минут. Затем она опять оказывалась рядом, и их беседа возобновлялась. Под конец вечера они и вовсе перестали разъединяться. Благо вокруг них собрался небольшой кружок, который маскировал эти демонстративные отношения. Основу его помимо известной пары составляли Баратынский и Черноухов, интересы которого войной с Турцией, видимо, не исчерпывались. Лолина, судя по всему, была вполне довольна. Я не поймал на себе ни одного ее косвенного взгляда, и это меня бесило.

Я подошел, поклонился и, придвинув к кружку кресло, сел.

– Позвольте рекомендовать, кто незнаком – господин Булгарин, издатель, – сказала хозяйка.

– А-а, Фаддей Венедиктович! Откуда вы сейчас? – весело воскликнул Пушкин.

– Я давно тут, Александр Сергеевич.

– Простите, не заметил ранее, – оскалился Пушкин белозубой африканской улыбкой.

– Я и не претендовал бы на ваше внимание, поскольку кампанию вам составляет сама Красота. Мимо нее уже ничего не видишь!

Лолина рассмеялась, а поэт прищурился.

– Вот – Фаддей Венедиктович – только явился, а ведь уже в центре. Да и куда нам, к слову сказать, противу французского офицера в салонной ловкости преуспеть!

Внешне я не дрогнул, но вот память о том, что я Наполеону служил, тут совсем ни к чему. Однако теперь и я могу наступить на любимую мозоль.

– Кровью я шляхтич, а они – известные кавалеры, так это мне еще одним плюсом запишите против иных кровей!

Пушкин, будучи мулатом, потемнел лицом, глаза его обрели бешенное выражение, кажется, выдалась редкая минута, когда Александр Сергеевич не сразу нашел ответ.

– Полно, господа, вы словно счета сводите, – сказала Собаньская. – Извольте прекратить или я обоим откажу от дома.

Пушкин еще раз яростно глянул на меня, но потом вдруг широко улыбнулся.

– Просто мы с Фаддеем Венедиктовичем относимся друг к другу искренне, – сказал он, сделав удар на последнем слове.

Все понимающе ухмыльнулись. Сказано было верно, я и сам это оценил.

Впрочем, угроза подействовала на обоих, и мы больше старались не задевать друг друга. Соперничество продолжалось, но безмолвно. Кружок поредел, Пушкин покидать нас не собирался и беззаботно болтал. Я больше слушал.

...Наконец, поднялся со стула и раскланялся Баратынский.

– Я тебя провожу, – Пушкин вскочил и отправился с приятелем. – Мне необходимо сказать тебе...

Так мы остались наедине с Собаньской. Об этом я мечтал

весь день.

– Лолина, я люблю вас всей душой, так перестаньте же дуться. У меня сердце замирает, когда холодеет ваш взгляд. Прошу вас – не играйте со мной – мне это тяжело. Я не ловелас как Пушкин, у меня все всерьез.

– Вы не похожи на влюбленного мужчину. Вы не могли сказать больным для начальства?

– На меня бы донесли из вашей же залы! Это не шутки – меня вызвал сам генерал Бенкендорф, а перед сильными мира сего даже Амур, сложив крылья, становится обычным просителем и скромно ждет в приемной. Лолина, я не виноват!

– Я больше вам не верю!

– Я вас не понимаю, – сказал я. – Лолина, ради вас я рисковал всем.

– Но ничем не жертвовали, кроме денег. Я догадалась – это была просто взятка.

– Совсем не просто...

– Называйте, как хотите, – отмахнулась Собаньская. – Документы вернулись в архив, у меня не осталось ничего, что свидетельствовало бы о вашем чувстве. Ваш подвиг заключается в том, что вы нашли нужного человека и заплатили. Я слишком переоценила ваш поступок, объявив его героическим.

– Но я вас не обманывал... Что же вы хотите? – из победителя я снова стал растерянным юнцом.

– Я уже сказала – настоящей жертвы.

Я прямо посмотрел в любимые, драгоценные глаза. И понял, что с ума сойду, если потеряю ее.

– Хорошо, требуйте. Чего вы хотите!

– Не шутя?

– Да!

– А я уже придумала вам наказание! – горячо зашептала она. – Вот все это время – с тех пор, как ждала вас – все придумывала. Вы признавались мне, что Рылеев оставил вам бумаги. Если дадите мне то, что никто не видал – я вам снова поверю. Этот залог любви я приму и отдам вам свой. Если вы готовы довериться мне, то и я доверю свою честь вам... Честная сделка?

– ...Честная, – после молчания пробормотал я.

– Жду в любое время!

Я, может, и нашел бы слова возражения, но тут пришел Пушкин, момент был точно упущен, а повторного колебания Лолина мне не простит. Я встал, чтобы откланяться.

– Прощайте, – опять холодным тоном сказала мне Собаньская.

Я поклонился тиранше, чуть кивнул Пушкину и на пороге залы услышал, как Лолина приглашает Пушкина бывать у нее запросто – как у друга. Рассчитывала ли она, что я услышу – не знаю, но удар вышел точный. Я до передней чуть зубы не стер – такая напала ярость. Это мое дурное наследство буйной польской крови. Как сдержался – не помню, как сел

в возок – тоже. Постепенно холодный воздух привел меня в чувство.

Цепляюсь ли я за дорогие мне воспоминания и только? Нет. Мысленно передо мной стоят две Лолины: первая прежняя – своенравная порывистая полячка и нынешняя – светская, обманчивая, но неотвратимо притягательная. Она всегда – и прежде, и сейчас, лишала меня разума. Быстрый ум ее в сочетании с неодолимым очарованием приводят к непонятному онемению. Благодаря жизненному опыту я научился его преодолевать, но внутренняя юношеская дрожь все еще сидит во мне. Я влюблен в Лолину и своей первой любовью мальчишки, и последней любовью зрелого мужчины, достигшего всего, что имел дерзость желать.

Все, кроме одного – ее любви.

Могу ли я теперь отказаться от нее?

Я попытался представить, что вот – все, я не выполню просьбы, завтра она откажет мне от дома, и я потеряю ее безвозвратно. Именно так – безвозвратно. Если юнцом, покидая ее, я верил в свою звезду, верил, что, завоевав полмира, я вернусь наполеоновским маршалом и покорю ее сердце, то сейчас-то, спустя полтора десятка лет, будучи капитаном в отставке, я знаю, что звездам верить нельзя. Сколько раз успех обманывал меня, ускользал из готовых принять его рук. Мудрость – это опыт не столько побед, сколько поражений. Испытав многие потери, я знаю, что самые заветные цели могут обмануть. И противу себя двадцатилетнего

знаю, что вторая моя попытка – последняя, третьей не дано. И мысль о том, что я опять упустил фортуны, будет нестерпима всю оставшуюся жизнь. Эта ставка – самая большая в жизни, хоть никто не узнает ни о победе, ни о моем поражении. Но в душе своей я или воскресну заново, или умру навсегда. Лолина, сжался надо мною!

Что я боюсь потерять в этой игре? Я не знаю, что ждет в России бывшего наполеоновского офицера завтра. Быть может, новая опала? А если вскрыется авантюра с Мордвиновым, то и каторга. Тем более глупо упускать такой шанс. А благополучный исход сулит спокойную старость – это все богатство, какое мне суждено. Разве это много, чтобы обменять его на истинную любовь? И будет ли оно утешением тому воспоминанию, что волокита Пушкин вмиг добился и лишил меня навсегда того, о чем я грезил 16 лет?

Могу ли я отказаться от нее?

Пушкин – болтун, повеса, дьявол! Принес его нечистый! Вдруг он явился, чтоб одолеть меня, а не ее? Последняя мысль обожгла, и более я не раздумывал. Нет, я не отступлю без боя!

Возница довез меня до дому, я остановил его: «Жди тут!» Не сбросив шубы, я прошел в кабинет, достал из тайника коричневый кожаный портфель и быстро вернулся на улицу. «Обратно гони!» – крикнул я вознице. Приняв решение, я более не раздумывал и отводил от себя всяческие мысли. Но одна все-таки проникла и вертелась в голове, гремя гонгом:

а вдруг Пушкин еще там? Но медлить я не мог, такая у меня натура, раз начав дело, я уже не умею остановиться. И если выход на все случаи не придуман, то мне достаточно и простых слов: черт с ним, как-нибудь образуется!

«Барыня сегодня более не принимают», – остановил меня на пороге слуга. Я втолкнул его в переднюю и осмотрелся – есть ли кто? Тут ли его крылатка? Слуга набычился и готов был уже звать подмогу. Я сунул ему ассигнацию. «Справься, голубчик: передай, что это господин Булгарин с бумагами!». Тот с сомнением посмотрел на меня и вышел. За дверьми раздался какой-то звук, и оттуда высунулась голова другого слуги. Увидав, что я стою на месте, она скрылась. Наконец первый достиг хозяйки и вернулся. Прямым с порога я попал в будуар.

– Это вы, Фаддей Венедиктович? – спросила Собаньская. – Что случилось?

– Лолина, я не мог ждать! – Я припал на колени и преподнес даме драгоценный для меня портфель. – Теперь я в вашей власти!

– Полно, дорогой мой! – Лолина приблизилась, и я увидел, что ее губы дрожат. – Я только хотела увериться, что я действительно любима, что это не прихоть, купленная за деньги...

Долее слушать было невмочь. Я вскочил с колена и впился в ее губы. Она ответила на мой поцелуй со всей страстностью польской природы.

Более я ничего связно ни передать, ни вспомнить не могу. Все словно завертелось в волшебном вихре, меня понесло, как по бурному морю. Помню только, что меня выбрасывало на берег, я лежал, задыхаясь, а потом снова начиналась эта безумная качка. Счастье свело меня с ума...

2

Я проснулся утром улыбаясь, чего давно не бывало. Чувство такое, будто я отлично выспался, хотя на сон пришлось не более четырех часов. Хотелось продлить это сладкое ощущение истомы. Я словно купался в парном молоке – такое же приятное, обволакивающее, счастливое...

– Ваше благородие! Фаддей Венедиктович! – в комнату влез Ванька. Увидев, что я не сплю, и вовсе затопал через кабинет к дивану. Я, вернувшись под утро, устроился здесь, чтобы не беспокоить жену. – Ваше благородие, к вам господин Пушкин! Я говорю – почивает барин, а они слушать не хотят!

– Что ты болтаешь!.. – скривился я при имени, которое сразу обращает идиллию в кошмар.

Дверь распахнулась во всю ширь, Пушкин прыгнул через порог и предстал передо мной как табакерочный черт!

– Что вам, милостивый государь?! – я сел на диване, все еще не веря в происходящее. Глаза Пушкина сверкали гневом, он в упор уставился на меня, верно думая, что бы такое сотворить. Такое, отчего нам непременно придется драться. «Брысь!» – на всякий случай сказал я застывшему Ваньке. Тот исчез.

– Дано, так храни! – Пушкин замахивается рукой, я инстинктивно защищаюсь, и в меня летит что-то тяжелое. Я

ловлю, рассматриваю орудие и вдруг узнаю портфель Рылева.

– Как вы смеете врываться! Что вам надо? Извольте выйти вон! – я откладываю портфель и становлюсь напротив Пушкина. Его ноздри в бешенстве раздуваются, глаза налиты до красна.

– Дано, так храни! – повторил Пушкин, указывая длинным ногтем мизинца на портфель. – Память о рабе Божие Кондратии! На то его воля последняя, не то бы не вернул бумаги. Не зря он хотел вам голову на подшивке «Северной Пчеле» отрубить! Пся крев!

– Откуда это у вас? – спохватываюсь я и впиваюсь взглядом в черные непроницаемые глаза Пушкина. – Вы украли это у Каролины? Или вы с ней... Вы ее любовник? Вы посмеялись надо мной?!

Рот Пушкина кривится в ухмылке.

«Убью!» Я с криком бросаюсь к стене и срываю с ковра саблю. Хочу рассечь, перечеркнуть эту гадкую улыбку, но с трудом останавливаю руку и указываю противнику на второй клинок, а сам встаю в позицию.

– Дуэль? Отлично! – Пушкин снял со стены саблю и тоже встал в позицию. Я готов был атаковать, но вдруг Александр Сергеевич выпрямился и стал расстегивать сюртук, жилет и взялся за брюки. Потом он посмотрел на меня вопросительно. – Или, пардон, вы оденетесь, чтобы сравнять условия?

Моя ярость в мгновение дошла до точки кипения и вдруг

вся испарилась. Я представил свою фигуру: в ночной рубашке и колпаке, на полусогнутых ногах, с занесенной назад левой рукой и с уланской саблей в вытянутой правой.

Я уронил саблю, фыркнул и, не сдержавшись, захохотал. Пушкин бросился ко мне в объятия и залился смехом облегчения.

– Я ведь думал – зарубите! – весело сказал он, швыряя свою саблю. – Впервые вижу перед собой влюбленного поляка во всей красе. Страшное зрелище, хоть и комичное – не в обиду вам будет сказано.

Я снова нахмурился, но злости в этом уже не было. Я бросился одеваться. Пушкин отвернулся.

– Я... – у меня в горле пересохло. – Ванька! Вина! – кричу я и, набравшись храбрости, смотрю прямо на Александра Сергеевича. – Я действительно люблю эту женщину. Очень сильно. Потому я и...

– Теперь я понял, – просто сказал Пушкин.

– А что думали?

– Вызвать хотел... нет, прибить. Но потом решил, что одно извинение у вас может быть – я тоже любил и делал ради любви любые безумства... Собаньская, кстати, до безумства может довести в два счета – я видел примеры, Мицкевич был в нее влюблен, так он бесился, как... как обезьяна в клетке. Каролина поражает воображение мужчин – она стихия, она Цирцея. Жаль, что вы не читали моего «Годунова». Собаньская послужила мне основой для моей Марины Мни-

шек. Мнишек – тоже полька, они схожи не только внешне, но и внутренне. Мнишек готова валяться в любых постелях, потому что ее главная цель – что бы она не чувствовала к тому или иному мужчине – честолюбие... Впрочем, я отвлекся, сейчас вам не до литературы... Я догадываюсь, что мое волокитство могло способствовать тому, что вы согласились на условия Каролины. Извините меня – для вас это, наверное, стало пыткой...

– Не хочу и слушать, мой грех здесь больше. Я хоть и человек порывов, но обиду вам четыре месяца назад нанес сознательно. Каюсь в том, тем более, что причина не в вас, а в посторонних обстоятельствах – верьте мне и простите, если сможете.

– Оставим счеты, теперь поздно драться – вы одеты, момент упущен! – улыбнулся Пушкин и сел в кресло.

– Чтобы вы не думали обо мне лишнего – и того довольно, что есть, – покачал я головой, – вот вам доказательство моей преданности.

Я подошел к бюро и достал из секретного отделения несколько листов, исписанных рукой Кондратия Рылеева – его почерк Александр Сергеевич должен помнить.

– Вот то, что я никому ни при каких обстоятельствах показать бы не мог.

Пушкин взял бумаги и тут же углубился в них. Лицо его обрело озабоченное выражение. Когда в дверь сунулся Ванька с испанским вином на подносе, Александр Сергеевич

вздрогнул и попытался бумаги даже укрыть. И неспроста – он держал в руках список временного правительства, которое хотели учредить для управления Российской империей участники семеновской истории. Александр Сергеевич числился там, среди прочих, министром просвещения.

– Какой закуски изволите? – спросил Ванька.

– Вон иди, позову.

Пушкин проводил моего слугу взглядом, потом оборотился ко мне.

– И вы это храните?!... Налейте, пожалуйста, я, верно, сам от волнения не смогу.

Я наполнил бокалы, и мы выпили.

– Ну-у, удивили, Фаддей Венедиктович!.. Знал бы я ранее, по-другому бы себя вел... Но ведь это приговор для меня, черт возьми! Ссылка, как минимум! Тем более, что я, после прощения моего, подавал государю записку о воспитании молодежи... Теперь я вижу, что мог всегда доверять вам полностью, Фаддей Венедиктович. Верю всякому вашему слову и уже забыл все обиды – коли вы так поступали со мной – то у вас были веские причины.

Пушкин встал, взял бутылку и налил вино. Рука его дрогнула, и прозрачное пятно окружило основание его бокала.

– Послушайте, Фаддей Венедиктович, – медленно произнес Пушкин, заняв свое место. Вино капало с ножки бокала, но Александр Сергеевич не замечал этого. – То, что я сейчас в полной мере пользуюсь свободой – залог того, что

вам я могу доверять безмерно. Но я боюсь доверять случаю. И теперь, зная о том, что есть этот список, я не смогу чувствовать себя впредь покойно. Случай может нарушить ваши расчеты и предать бумагу в чужие руки. Для меня это может стать катастрофой, Впрочем, и для вас тоже. А прибавление нас к числу жертв восстания не желал ни Кондратий Федорович, ни кто-либо другой из его товарищей. Я не вправе ничего требовать, но попросить однажды могу – отдайте мне эту взрывоопасную бумагу. Впрочем, если вы считаете, что она должна храниться и далее у вас – как положено по завещанию Рылеева – извольте... Но – еще важнее, что бумага эта в чужих руках может не просто сгубить, а заставит нас действовать и жить по чужим указаниям. Это особенно страшно.

– Извольте, Александр Сергеевич, пусть это будет моим подарком в честь нашего примирения. Иначе бы вы могли счесть, что я специально оставляю бумагу себе, чтобы влиять на вас.

Пушкин вздохнул с облегчением, и, аккуратно сложив листки, бросил их в тлевший камин, который под утро зажег Ванька. Бумага чуть развернулась, почернела местами, а затем вспыхнула. Александр Сергеевич в тот же миг повеселел.

– Выпьем за дружбу!

Далее мы болтали, словно не было перерыва последних месяцев. Серьезных тем в этот день мы намерено уже не ка-

сались.

3

Уходя, Пушкин уверил меня в совершеннейшем дружеском расположении и добавил:

– Коли вам неприятно, Фаддей Венедиктович, то я зарекаюсь бывать у госпожи Собаньской. Мне наша дружба важнее.

Я молча поклонился, и мы расстались.

Верно – пока у меня был Пушкин – я украдкой взглядывал на часы: скоро ли ехать к Лолине? Это была и привычка последнего месяца, и глубокое необходимое веление души. Тем более теперь меня сильнее влекло к ней – я достиг счастливого положения, о котором столь долго мечтал, притом, что главный соперник самоустранился. Вот в такой момент, как я заметил, и начинаются терзания сердца. (Совершенно русская роковая черта, которая говорит, что я полностью принял образ мыслей моей новой родины.) Пушкин избежал этого терзанья (или уже миновал его) – он оценил дружбу выше любовной привязанности. Правда, она, верно, не была такой сильной как моя – он ведь только хотел досадить мне, явившись к Каролине. Ему легко отказаться от того, что и так было не нужно еще неделю назад. Положительно: его дружба возвращена неспроста! Какой ценой ему самому достался архив? Он видел портфель и мог, случайно заметив, узнать, но как он взял его у Собаньской? О том мне

уже узнать не удастся. Возможно, ему пришлось поступить с ней жестоко, тогда и обратной дороги ему уже нет? Так в чем тут его благородство? Зато он в точности все знает обо мне и это – ох как стыдно! Ему бы меня презирать, а он возвратом архива подарил мне единственную возможность для исправления ошибки. Пусть мне уже не быть совершенно честным в его и своих глазах, но я не буду мучиться от непоправимости совершенного. Это великодушно. Он также отказался от притязаний на Каролину.

Но – стоп! Здесь Пушкин изъявил желание подарить мне то, что и так принадлежит мне, за что заплачена самая высокая цена – измена последней воле дорогого мне человека. В чем тут дар? В том, чтобы еще раз намекнуть на мое ничтожество и дать понять, кому я буду обязан своим счастьем с Лолиной? Или его намерение было противоположным – он обошелся так, чтобы не задеть моей гордости? Но он обошелся не только малою жертвою; более того – не только не укорил меня, но и признал, что понимает мои причины, сочувствует. И здесь уж и ничего, кроме благодарности, сказать не смею. Он протянул мне руку, уличив в безнравственном поступке. Понял и подарил вновь свою дружбу.

Теперь и мне надобно оценить все, что случилось.

Каким бы путем не попал архив к Пушкину, Лолина тут поступила со мною также как я – с волей Кондратия. Я мнил, что отдаю архив в залог, а оказалось, что это просто цена ее любви. Она получила плату таким векселем и – как ненуж-

ный – переписала его на имя Пушкина. Если архив ей не нужен, то почему просила именно бумаги Рылеева? Это была ее воля или чья-то чужая? Допустим – Пушкина? Подозрение обожгло меня. Его интересовали эти бумаги, он искал их! И он явно как-то влияет на Каролину, коли сумел забрать архив у нее. Вдруг, это он ее подговорил?

Нет, слишком коварная интрига для поэта.

Я осадил себя. Только что я признал за Пушкиным благородство и дружеское чувство и тут же приписал ему чудовищную интригу! Нет, такое подозрение могло родиться лишь в самом воспаленном воображении. Собаньская вероятно действовала по указанию своего многолетнего любовника – генерала Витта. Ведь именно ему принадлежит слава изобличителя участников Южного общества бунтовщиков. Генералу этой славы мало, и он продолжает охоту за их наследством – вот такому человеку можно приписать любое коварство. Собаньская зависима от него, подчинена ему, и она рассказала ему о моей любви к ней? Если так, то все пружины для получения архива были у него в руках. Но Витта теперь нет в Петербурге, значит, Каролина самовольно отдала бумаги Пушкину?

Опять этот несносный Пушкин! Всюду – он, все совершается с его участием! Или это я думаю о нем больше, чем следует? Кажется, уже я определил его поступок как благородный. Он спас меня!

А вот Каролина, отдав архив в чужие руки, могла решить

мою судьбу, погубить меня окончательно! И это ее не остановило. Она нарушила мое доверие, обратив его в разменную монету. Тут любой поступок Пушкина меркнет перед предательством Каролины. Она никак меня не ценит. И если примет меня сегодня у себя, то лишь по долгу – отработывая полученный приз. Каково же мне – знать, что любовь куплена на срок и, как только он истечет, – она прогонит меня.

Что ж делать? Ждать этот удар или самому вперед разрубить этот гордиев узел? Но ведь она, должно быть, вынуждена была так поступать?..

– Ванька! – позвал я, все еще не придя к решению. Ванька явился в ту же секунду. – Ты под дверью, подлец, стоял?

– Никак нет, Фаддей Венедиктович. – К вам барин. Я доложить пришел.

– Какой барин?

– Не знаю.

– Так зови, сейчас узнаем.

Если б взялся гадать – вовек не догадался – на пороге возник Мордвинов.

– Здравствуйте, Фаддей Венедиктович, – сказал он и сделал успокоительный знак рукой.

– Доброе утро, – сказал я, решив не называть его при слуге по имени, коли он сам не отрекомендовался.

Помощник Бенкендорфа дождался, когда Ванька ушел, и поплотнее закрыл за ним дверь.

– Что-то случилось, Александр Николаевич? Иначе – за-

чем вы здесь?

– Случилось. Я должен вас предупредить.

Я мысленно перекрестился.

– Вы опасаетесь ареста?

– Вашего.

– А своего? Ведь мы вместе...

– Нет, это другое. Это из-за пани Собаньской.

– При чем здесь Каролина? Что вы о ней знаете? Вы следили!

– Ну конечно, я в первый же раз, как вы забрали у меня описи, проследил вас до ее крыльца. И после характер потребованных вами документов подтвердил, что интерес имеет польские корни.

– Вы заметили, что за мной еще кто-то следит?

– Нет, дело хуже. Я в Третьем отделении услышал разговор Собаньской и Александра Христофоровича. Он спешил, и они говорили на ходу, как раз проходя мимо моей двери. Госпожа Собаньская сказала: «Непременно вызовите Булгарина в это время – тогда я смогу потребовать нужные бумаги, и он отдаст. Тянуть нельзя!». Генерал ответил: «Я сейчас еду во дворец, оттуда пришлю записку и приставлю к нему своих людей».

– Не может быть! – растерялся я. Врать Мордвинову смысла нет, но как это может быть правдой?

– Они прошли мимо, Собаньская посмотрела на меня, но виду не подавала, что меня знает.

– Вы знакомы?

– Нет, не подавала виду, что знает о моем участии в деле с документами Рылеева.

– Она не знает.

– Верно?

– Клянусь, Александр Николаевич, я ее в это не посвящал.

Зачем бы?..

– Кто вас знает, Фаддей Венедиктович! Я ваших дел не понимаю, и зачем вы связались с этой опасной женщиной... Я вас вчера хотел предупредить – да не успел.

– Как все это понимать?

– Она – агент Бенкендорфа и строит вам ловушки. Но я не понимаю: после того, что мы с вами натворили – какие еще ловушки нужны... и почему она отдала все документы из дела Рылеева обратно? Ведь одного из них было достаточно, чтобы изобличить вас и, затем, меня. О каких еще бумагах они говорили?

– Этого я вам не скажу, достаточно, что я сам понимаю – о чем речь... Как все запуталось...

– Будьте осторожнее, Фаддей Венедиктович, умоляю вас. Мы ведь на одной ниточке висим!

– Не беспокойтесь, даже если я пострадаю, вас это не коснется, раз до сих пор не коснулось... Спасибо за предупреждение, Александр Николаевич.

– Еще одно. Во всем этом как-то замешан Пушкин.

– Пушкин везде замечен, – пробормотал я каламбур.

– Александра Христофоровича он очень интересуется. Генерала волновало ваше сближение с Александром Сергеевичем. Только я так и не понял: опасается он вашей дружбы или, наоборот, ищет в ней выгоды. Его беспокоит, что вы перестали встречаться открыто, Бенкендорф подозревает скрытые сношения между вами. На меня злился, что я допустил оплошность в том разговоре о русской и немецкой партии, дескать, вы, Фаддей Венедиктович, догадались о его интересе к Пушкину и решили продолжать дружбу тайно. Госпожа Собаньская тут появилась неслучайно, мне кажется. Она ведь была любовницей Пушкина, когда он отбывал ссылку в Одессе.

– Спасибо еще раз, Александр Николаевич, – честно говоря, я уже устал всех этих открытий, и мне хотелось остаться одному.

– Полагаюсь на ваш здравый смысл, – Мордвинов откланялся.

Я бы на месте Александра Николаевича не полагался на то, чего сам хозяин не видит. У меня буквально кружилась голова. Я присел, закрыл глаза. Хотелось плюнуть на все, но ведь я не успокоюсь, пока не пойму – что происходит?

Итак. Собаньская добилась моей помощи «в деле польских заговорщиков». Если ее целью была провокация, то дело сделано – берите меня тепленьким и тащите в крепость. Вместе с взяточником Мордвиновым. Однако – мы на свободе. Тогда Каролина делает второй заход и, по утверждению

Мордвинова, по сговору с Бенкендорфом она заставляет отдать ей архив Рылеева. Но отдает его не генералу, а Пушкину, который возвращает архив мне. Так для кого она брала архив: для Пушкина или Бенкендорфа? Кого из них (кроме меня) она обманывает? Вчера удивительным образом сошлись и внезапный вызов к генералу, и визит поэта в салон, где до этого он за месяц ни разу не был. Кто меня дурачит?

Зачем после удачной провокации затевать для того же результата другую? Голова у меня пухла, вопросы копились, а ответы не складывались.

Открытие, что Лолина помогает Бенкендорфу, делает ее предательницей. Она со мной не искренна, но арестов по польским делам нет, значит, она – настоящая патриотка и эти документы были нужны ей. Я видел ее радость – добиться такой искренности не дано ни одной актрисе! Тут она действовала от себя! Значит, сотрудничество с Третьем отделением вынуждено, ей приходится так поступать! Не зная всех обстоятельств – можно ли ее винить за это? Как и за ее измену с Пушкиным? Что было – то было, но что есть между ними теперь? Ее я имею право спросить!

Этот довод показался мне убедительным, но в глубине души я знал, что просто хочу увидеть ее еще раз, что душа лелеет еще надежду, что все разрешится каким-то волшебным образом, все исчезнут: и Бенкендорф, и Пушкин, а останемся лишь мы с ней...

Слуга, провожавший меня под утро за дверь, ни о чем не

спросил, а лишь проводил в залу и отправился доложить хозяйке. Пауза была долгой. Наконец, меня позвали в будуар.

Каролина казалась усталой и расстроенной, а самое плохое то, что она этого не скрывала. Эта картина огорчила меня больше, чем все вместе взятые подозрения.

– Доброе утро, любовь моя! – невольно вместо обвинений у меня вырвалось очередное признание.

– Фаддей Венедиктович, если помните, ранние визиты никогда не доставляли мне удовольствия.

– Тогда я имел меньше прав на них... Тогда вы меня не любили.

– Зато теперь, спустя столько лет, я имела возможность оценить силу вашей любви, которая не рассеялась до сих пор.

– Это правда, я люблю тебя! – я бросился к Лолине и заключил ее в объятия.

– А я только отдала долг...

– Так ты все-таки из-за архива... – я почувствовал, как всегда в ее присутствии, онемение, но необычного свойства – я хотел все знать и, одновременно, боялся этого.

– Нет, я отдала долг той верной любви, которую знаю сама, – сказала Собаньская. – Но больше мне отдать нечего.

– Но архив! Кто тебе сказал о нем? Зачем ты его требовала? Для кого?

– Прощайте, Фаддей Венедиктович. Не беспокойтесь, залогов я не возвращаю, зато тайны хранить умею...

Любви не было – это я понял и ушел. А вот в долгах Каролины я запутался. Кому она была должна больше: Пушкину, Бенкендорфу или, быть может, все-таки Витту? И кого она любила также страстно как я – ее? Верно – Витта, иначе что заставляет ее жить больше десятка лет на положении его любовницы?

Как бы там ни было – Пушкин не только спас мою честь, вернув архив, но и мою свободу, жизнь. Она могла стать малой жертвой, отданной для того, чтобы состоялось большое дело – восстание поляков, в котором Собаньская намерена участвовать. И поделом – я свое дело сделал, а поскольку в бунт не верю, то и пользы от меня никакой не будет. Верно ли, что самое сильное чувство Каролины – честолюбие? Кем она хочет стать? Польской богиней Либерте?

Что же осталось мне?

Опять в руках один пепел – а реально только то, что создаешь сам. И еще – Пушкин, с которым мы помирились, отказавшись от любви к одной женщине.

Глава 8

Пушкин занят, я наношу ему неожиданный визит. Прогулка по набережной Мойки. Разговор о ценности писателя и журналиста. Лавочник, попавший в беду. Я на пари спасаю лавочника. Аллигаторова груша. Пушкин поражен силой газетного слова. Приглашение Пушкина отпраздновать замужество его сестры. Мое свидетельство о переправе Наполеона через Березину. Пушкин предлагает союз первого поэта России с первым издателем. Как я стал капитаном армии Наполеона. Мой взгляд на союз с Пушкиным.

Дружеское чувство, только зарождавшееся ранее между мной и Пушкиным, после интриги с Каролиной Собаньской стало новым и сильным. Тут уж или расходиться навек, или доверять друг другу, словно родные братья. Я отбросил все расчеты и отдался чистому чувству – какие могут быть счеты между братьями, даже если они совершенно разные люди!

А близкие не могут долго быть друг без друга. Уже на следующий день я послал Пушкину записку с приглашением на дружескую пирушку в честь примирения. К сожалению, Александр Сергеевич был занят. Он поблагодарил меня в самых любезных выражениях и попросил встречу немного отложить – так случилось, что все ближайшие вечера у него были ангажированы. Через неделю я снова написал Пушкину, ждал два дни и, не получив известия от Пушкина, отправился к нему в гостиницу днем – в такое время, когда балов не проводят.

Пушкин был по виду чем-то недоволен, но встретил меня довольно любезно. Он все еще одет в халат (значит – работал), а в руке держал курительную трубку.

– Здравствуйте, Фаддей Венедиктович! Очень рад.

– Извините, что явился нахрапом, Александр Сергеевич. Надеялся, что вы уже кончили на сегодня занятия или делаете короткий перерыв. Хотел пригласить вас на прогулку.

Впрочем, если вам некогда, то я удалюсь.

– Что вы, что вы, Фаддей Венедиктович, располагайтесь пока, а я оденусь. Работу я уже оставил, читал, и как раз сам собирался выйти.

Пушкин облачился, прихватил тяжелую трость, и мы вышли на улицу.

– Пройдемся? – предложил я, поскольку был утомлен утренними занятиями за письменным столом. – Или у вас намечено какое-то дело?

Пушкин замялся.

– Да нет, ничего определенного.

Я приказал извозчику ехать следом, и мы отправились гулять вверх по набережной Мойки. В разговоре мы не касались близкого прошлого – нашего разрыва и Каролины, которая невольно послужила нам к сближению. По обоюдному молчаливому согласию мы решили эти темы придать забвению.

– Представьте, я жил в этом месте перед учебой в Лицее. Правда – подальше, – Пушкин махнул рукой вдоль улицы. – Там была еще одна лавочка – я любил покупать в ней восточные сласти. Интересно: она сохранилась?

– Очень возможно, – сказал я.

– Но ведь с тех пор изменился весь мир, пал Наполеон, Россия пережила заговор, у кормила власти утвердился новый император.

– Это не повод отказаться от сластей. Сидя в лавочке,

можно даже не узнать, что Бонапарт проходил мимо. Вполне вероятно, что это приближение только и было заметно по тому, что от испуга стали больше покупать товару.

– Да, многие любят закусить беду конфеткой! – рассмеялся Пушкин. – Так лавочники вечны?

– Они – основа основ, на мой взгляд, – сказал я серьезно.

– Как это грустно: герои гибнут, а лавочники процветают.

Я с этим не согласен!

– Должен же кто-то кормить сладостями подрастающих героев!

– Вы как будто смеетесь над героями?

– Да боже упаси, – сказал я. – Герои нам еще понадобятся – куда ж без них.

– Думаете, еще не все происшествия свершились?

– Уверен в том, – сказал я не без оснований и радуясь тому, что Пушкин не знает планов Собаньской на Царство польское. – Европе грозят новые революции. А уж оттуда огонь может переметнуться к нам. Мне кажется, что новые бунты приведут только к новой крови, а пользы не будет.

– Согласен с вами, Фаддей Венедиктович, – убежденно сказал Пушкин. – Революция – дело кровавое. Российскую жизнь менять необходимо, но делать это следует плавно, путем просвещения. Только тогда результат будет.

– Рад, что мы схоже думаем о роли просвещения, Александр Сергеевич, – сказал я. – Да не только думаем, но ведь и делаем, что можем.

– Я слышал, вы роман большой пишете, «Выжигин», кажется – это хорошее дело, – сказал Пушкин. – Но вы бы написали значительно больше, если бы не тратили столько времени на газету. Жизнь ее – два дня, а она требует прорву заметок, статей – это же постоянная пиявка, тянущая из писателя кровь. Это я не в упрек, а, напротив, из сочувствия к вам говорю. Мне кажется, что служба Российской Словесности – вот прямой путь для просвещения России.

– Вот не ожидал от вас, Александр Сергеевич такого слова! – воскликнул я.

– Не примите как обиду, – сказал Пушкин, положив руку на сердце. – Я говорю, как вижу. Верно, газета дает вам достаток, но мешает в том, чтобы больше делать для общества. Вы ведь подлинный писатель, и я говорю вам это только потому, что боюсь – сгубит вас ваша «Пчела».

– Ушам не верю! – сказал я, оборотясь к Пушкину. – Вы думаете, что ремесло журналиста непригодно для просвещения? Да вы не знаете, что говорите!

– К вам это не относится, Фаддей Венедиктович, – сказал Александр Сергеевич, – вы отлично владеете пером.

– Причем здесь это! – я был расстроен непониманием Пушкина, а он, кажется, больше всего боялся меня обидеть и в суть вопроса вдаваться не хотел.

– Смотрите! – воскликнул Пушкин, переводя разговор. – А вот и та самая лавочка, о которой я вспоминал! Она цела. Зайдем, Фаддей Венедиктович!

Александр Сергеевич взял меня за рукав и затащил в дверь лавки – для того, чтобы я не мог дальше продолжать спор.

Вдоль дальней от входа стены небольшого помещения тянулся прилавок, на котором были разложены разные сласти, орехи и фрукты. На отдельном блюде размещены пирожные. Пока я разглядывал прилавок, Пушкин наклонился к моему уху и громко прошептал: «И хозяин тот же!».

Я разглядел за прилавком вислоносого старика – он был таким маленьким, что над горками фруктов торчала лишь его голова. Впрочем, одна гора темно-зеленых фруктов, которых было больше всего, скрывала его полностью. Мне кажется, он помнил об этом и старался эту гору обходить.

– Здравствуйте, любезный! – сказал Пушкин. – Я не бывал у вас 15 лет – не помните меня? Я жил по соседству, в доме 13, а здесь больше всего любил засахаренные фрукты – цукаты и прочее. Есть они у вас?

– Да, – вздохнул коротышка и указал на полку с товаром. – Они самые. Извольте брать?

– Я посмотрю.

Пушкин медленно пошел вдоль прилавка, верно, вспоминая юность.

Меня более сухофруктов привлек хозяин – его вислый нос и все выражение лица передавали глубокую печаль. Подходящие покупатели не радовали его, товар он отпускал или с равнодушием или даже унынием. Как он мог сохранить лав-

ку столько лет, не проявляя покупателям ни капли любезности?

– У вас что-то случилось? – задал я вопрос, который вертелся на языке.

– Извините, ваше благородие, – встрепенулся хозяин. – Голову сломал – все об одном думаю.

– О чем же?

– Да что с это штукой делать! – коротышка указал на горку темно-зеленых фруктов.

– А что это такое? – спросил я.

– Если б я знал! – вздохнул лавочник. – Последнее время публика особенно приохотилась к апельсинам, и я заказал самую большую партию товара. А вместо апельсинов прислали вот это. Я думал – может, покраснеет или пожелтеет – нет, лежит себе, аспид, как был. И обратно отослать не могу – деньги отданы без возврата. Я уже три недели маюсь – ничего не продал. А в задней комнате гора в десять раз большая лежит. А как это называется – я и сам не знаю! – хозяин лавки готов был зарыдать.

Пушкин отвлекся от воспоминаний и стал прислушиваться к нашему разговору.

– Как же вы торгуете, если не знаете – чем? Может, это ядовитые плоды? – спросил Александр Сергеевич.

– Нет, нет! – хозяин перекрестился. – Вот Христом-богом! Я на себе проверял. Вкус травяной, маслянистый, но съедобный – я пробовал не раз.

– Что, купим для поддержания торговли? – предложил Пушкин.

– Я в удачу уже не верю, – сказал лавочник. – Вы, господа – добрые люди, да только если я хотя бы половину этих зеленых груш не продам, то через две недели разорюсь.

– Ну, столько мы не купим, – сказал я.

– Я – ради воспоминаний детства – могу дать вам немного денег, – Пушкин протянул ассигнацию, – может быть, даже организовать по знакомым сбор – как подписку на издание?.. – Александр Сергеевич посмотрел на меня вопросительно.

Хозяин из благодарности стал совать Пушкину темно-зеленые плоды, но тот их отстранил.

– Давайте, я возьму, – сказал я. – Мне на ум одна мысль пришла.

Лавочник протянул мне плоды, и я взял четыре штуки.

– Александр Сергеевич, а хотите, я лавочку вашего детства спасу, не потратив ни копейки?

– Извольте, но как?

– Увидите.

Я положил зеленые груши в карман, мы распрощались с хозяином и вышли из лавки.

– Я теперь спешу, – сказал я, – мне надобно в редакцию, так что – спасибо за прогулку.

– Прощайте, Фаддей Венедиктович. Только когда же я узнаю о спасении лавочки? Вы не сказали.

– Завтра, Александр Сергеевич, завтра.

– Так скоро? Без денег? Ловлю вас на слове!

– Ловите, ловите, Александр Сергеевич!

Я подозвал извозчика и поехал в редакцию. А Пушкин, смеясь над моим глупым пари, махал с тротуара.

2

Следующим днем, как обычно после выхода «Пчелы», с утра я работал дома. Это время я уделял Роману. Тут я старался изложить все то, что не попадало в станицы газетные. Журналисты лишь сообщают о событиях, а писатели растолковывают их смысл. Тут писатели, конечно, выше. Но не общи о событии журналист, и писателю не о чем рассуждать будет.

Много места я уделил здесь теме просвещения. Этого ка-сались мы и в разговоре с Пушкиным. Просвещение есть источник гражданской свободы. Но чтобы достичь результата, нужно в правильном духе воспитывать молодежь нашу. И что же мы видим на деле? Сплошное французское гувернерство. Мой герой – человек простой, заблуждающийся, подверженный ошибкам и падениям, но добродетельный от природы. Он переживает многое, многому научается и из человека слабого становится человеком правил, человеком сильным. Ему достается и любовь, и богатство, но лишь тогда, когда может ими правильно распорядиться.

Самая первая моя забота, чтобы Роман был интересен публике – причем всякой. Меня интересуют все читатели, какие ни есть на белом свете и каждый мне дорог. Я не салонный поэт, я хочу, чтобы Роман мой читала вся Россия. Оттого я стараюсь, чтобы он никому не наскучил. Оттого в

нем дворцы и хижины, киргизские степи и соленый с гнильцой воздух Венеции, столица империи и русская Польша. Герой мой знакомится со всеми сословиями, видит разных людей, в том числе и гадких, преступных, но в эпилоге брезжит для всех справедливость. Хочу верить, что не только в книге, но и в жизни усердие и преданность общему благу будут по заслугам вознаграждены...

Вдруг дверь кабинета распахнулась, и на пороге возник Пушкин. Он энергично прошел в комнату. За ним сзади толкался не успевший доложить Ванька.

– Фаддей Венедиктович, вы – волшебник! Чародей!

– Добрый день, Александр Сергеевич. Что случилось?

– Я был во вчерашней лавке, там – столпотворение! Эти зеленые груши расхватывают, как пирожки. Как вам это удалось? Откройте секрет!

– Да никакого секрета. Вы сегодняшнюю «Пчелу» читали?

– Нет.

– Так прочтите, – я подал Пушкину свежий номер. – В «Разном».

Александр Сергеевич на минуту замолчал, а затем стал читать вслух: «Сообщение из Африки: в нашу столицу завезен уникальный фрукт! Как стало известно сотруднику Сев.Пчелы, в Санкт-Петербурге в продажу поступил уникальный фрукт с далекого африканского берега. Спешу рассказать о его замечательных свойствах моим читателям. Плод по форме напоминает грушу и покрыт бугристой тем-

но-зеленой кожицей, отчего получил от нас название «аллигаторова груша». Вкус его – пресный, маслянистый, напоминающий грецкий орех. Гастрономы Европы высоко ценят этот плод и часто употребляют. Для этого кожицу счищают, а из середины извлекают косточку. Аллигаторова груша весьма питательна, может быть использована с лимоном, а также употребима в бутербродах и соусах. Что можно есть сырым – годится вареным и печеным: добавьте грушу в суп или запеките фаршированную. Но все-таки в сыром виде этот плод приносит больше пользы, учат нас доктора, изучающие влияние пищи на человеческий организм. Они говорят, что «аллигаторова груша» полезна для сердца и желудка, но более всего ее восхитительные свойства сказываются на поддержании и продлении мужеских сил организма. Приобрести африканский плод, которому так привержены Европейские кулинары можно в лавке на Мойке, номер 16».

– Черт вас возьми, Булгарин!

– И вас.

– Да я просто слов не нахожу!

– Это надо записать в поминальник: чтоб салонный лев да не мог ничего сказать...

– Я теперь верно припоминаю – в очереди за этой чертовой грушей были почти одни мужчины. Но как вам в такой короткий срок удалось столько узнать об этом плоде? Вы, верно, газетчики, обо всем можете получить сведения? Но откуда? Как?

– Пари мое? – спросил я, сохраняя хладнокровный вид, хотя улыбка торжества и растягивала мне губы.

– Безусловно, Фаддей Венедиктович! Обо что мы бились?

– Ни обо что, любезный Александр Сергеевич, – я таки позволил себе рассмеяться. – Но следовало с вас взять что-то памятное, дабы вы не забыли наш вчерашний разговор.

– Какой именно?

– Когда вы высказывали мне совет стать совершенно писателем и оставить газету. А я хотел вам ответить, что газета – это такая сила, которой можно многое сделать и для просвещения в том числе. Сегодня вы убедились в силе газетного слова.

– Еще как! Запомню. Это полезный урок, Фаддей Венедиктович. Теперь я о газетном деле буду по-другому думать... Но все-таки: откуда вы взяли столько сведений? Узнали имя этой аллигаторовой груши?

– Вот вам еще газетный урок, – сказал я и выразительно похлопал себя по лбу. – Не все надобно брать из газеты на веру. Имя для фрукта я придумал, что тут гадать – по внешнему виду, мне кажется – удачно. И все остальное – также. Особенно о поддержании мужеской силы.

– А вы не боитесь, что кто-нибудь помрет, наевшись это груши? А, Фаддей Венедиктович?

– Я же не помер. И Ванька мой. Я сначала ему попробовать дал, а уж потом сам откусил. И с солью попробовал, и с сахаром, и с горчицей, и с лимонным соком. С лимоном

мне понравилось больше, о чем я честно сообщил своим читателям. В журналистике, знаете, все испытать надо – иначе на враках поймают. Хотите грушку? – я достал из секретера блюдо с загадочным плодом.

– Нет, благодарю... Неужели вот так, смешав вымысел и правду вы заставили читателей повиноваться вашему желанию... Поразительно! Спасибо за урок! В качестве ставки за пари я сегодня же подпишусь на «Северную Пчелу», а также на все ваши журналы, каких еще не получал.

– Дорогой ценой приобрел я сегодня еще одного читателя, зато какого! Но если так и дальше пойдет, то скоро в Африке неизвестных плодов вовсе не останется.

Пушкин ответил мне своим заразительным смехом и сам пригласил на ужин. С тех пор мы стали видеться часто, а Пушкин много расспрашивал меня о газетном деле – видно, что история с «аллигаторовой грушей» крепко в нем задела. Его интересовало все: как образуются новости, сложно ли трижды в неделю делать выпуск, о том какие я получаю сведения из министерства иностранных дел, какие – из других источников, да что это за источники. Я рассказывал обо всем, что составляло особенной тайны, и искренне радовался интересу Пушкина. Он понял, какой отличный инструмент – газета, и сколько всего полезного можно с ее помощью совершить. Теперь я был уверен, что мы вместе сделаем многое.

3

– Добрый вечер, Фаддей Венедиктович!

Теперь Пушкин застал меня в домашнем халате. Зашел со счастливой улыбкой, обнял. Я визита не ожидал и был несколько озадачен. Пушкин приложился к ручке жены.

– Простите, Елена Ивановна, хочу украсть вашего мужа. Не возражаете?

– Украдите, Александр Сергеевич, – сказала Ленхен, – ваше общество ему на пользу – Фаддей всегда возвращается от вас весел.

– Ну, это от того, что он находит мое общество смешным, – подмигнул мне Александр Сергеевич. – Едемте ужинать, Фаддей Венедиктович, я сегодня чувствую себя, как именинник.

Пушкин держал извозчика и повез меня в ресторан. Мне показалось, что выбор пал на ближайший к моему дому, – так не терпелось Пушкину поболтать.

– Звал Дельвига – а он вдруг опять занемог. Это не человек, а ходячая аптека: поглощает лекарства пудами, кажется, ему это уже нравится – такова сила привычки. И говорить с ним не интересно – постоянно перебивает то кашлем, то чихом. Никакой плавности в рассказе, никакой композиции. Вот-вот подводишь действие к кульминации – «апхчи!» – и все насмарку!

В ресторации Пушкин сразу спросил «Вдову Клико».

– Я, Фаддей Венедиктович, сестру замуж выдал! Спас от родительского ига, а потом еще и от родительского гнева. Они не одобрили выбор сестры, потому ей пришлось бежать из дома, чтобы воссоединиться с возлюбленным. Сегодня ночью они венчались в церкви святой Троицы Измайловского полка, а наутро Ольга призвала меня к себе. Рассказала о происшедшем и попросила быть ходатаем по ее делу. Я отправился на родительскую половину и затеял сражение, победу в котором удалось одержать лишь через три часа. Маман, на удивление, капитулировала раньше отца, она смирилось с неизбежным. У меня даже закралось сомнение: не была ли она готова к такому повороту событий? А отец упорствовал до конца, топал ногами, да так разволновался, что пришлось звать цырульника пустить кровь. Запал противоречия был так силен в нем, что отец затеял с эскулапом спор, поучая его, как следует отворять кровь. Однако цырульник справился без подсказки, тогда уж, ослабев, и папаша дал согласие!

– Поздравляю вас, а тем паче вашу сестру и ее избранника.

– И не говорите, что победа зряшная, я ею горжусь, как Наполеон битвой при Маренго... Кстати, Фаддей Венедиктович, вы ведь встречались с императором Бонапартом, верно?

– Встречался, Александр Сергеевич. Правда, не при Маренго, потому не могу сравнивать эти две победы.

Пушкин рассмеялся и налил шампанского.

– Выпьем за императора!

– С удовольствием.

Я поднял бокал, отпил пузырящуюся прохладную жидкость, покалывающую небо, а потом согревающую горло и грудь. Этот самый напиток что я однажды пил из рук Лолины в Париже... Где Император? где тот Париж? Где та Лоллина?

– О чем задумались, Фаддей Венедиктович? Воспоминания?

Я промолчал.

– А все-таки, – не отставал Пушкин, – каков был Наполеон? Вы его видали? Бонапарт хоть и заезжал в Россию, но со мной повидаться не удосужился.

– По чести сказать – это оплошность с его стороны, – сказал я. – Не шутя – ведь в нем было много возвышенного, как и в вас. Как точно сказал об императоре Тальран: «Он был поэтом в политике». А вы политик в поэзии, вспомнить хоть «Стансы 1826 год».

– Я знаю изречение Тальрана. Мне интересно, каков Наполеон был в обращении, что – он играл на публике или это была только собственная его натура?

– Однажды за большим обедом в Эрфурте, на котором присутствовали все владетельные особы, вышел спор и Наполеон поразил всех тем, что помнил дату золотой буллы. Все стали изъявлять удивление, что Наполеон среди столь важных занятий помнит числа, превозносили всеобъемлю-

щий его гений, а он прехладнокровно сказал: «Когда я был подпоручиком....» Все изумились, замолчали и не смели поднять глаз. Наполеон, заметив это, нарочно повторил фразу, но уже с изменением: «Когда я имел честь быть подпоручиком, и стоял в Гренобле, я жил возле книжной лавки, и прочел несколько раз все книги, которые в ней были, а потому и неудивительно, что, имея хорошую память, я помню числа».

– И этот анекдот я знаю, – сказал Пушкин особенно серьезно. – А каким вы сами его видели?

Я хотел было рассказать анекдот уже с моим личным участием, но вдруг задумался.

– Я видел императора... Судите сами, Александр Сергеевич, каким я его видел. – Я отодвинул бокал и начал рассказ. Послушная память наяву запустила один из моих черных снов. – Это было 27 ноября 1812 года, при переправе остатков армии Наполеона через Березину. Так случилось, что когда стали выбирать место перехода через реку, то в качестве проводников позвали поляков. Я оказался в их числе, ведь ближайшее село – Студянка – было когда-то вотчиной моего отца. Я вырос в этих местах и хорошо знал округу. Все дни переправы я неотлучно находился при императоре и его штабе. Вообразите картину: полузамерзшая река, по черной воде плывут острые льдины. Два шатких моста, сделанные из нескольких разобранных крестьянских домов, – единственное средство спасения. Понтоны, которые отступающая армия тащила на себе всю дорогу, сожжены треть-

го дня по приказу императора. Оставшиеся боеспособными части на обоих берегах ограждают переправу от противника или ведут с ним яростный бой. Разношерстная толпа из солдат, похожих на бродяг, легкораненых, маркитанок и прочих, кто обычно сопровождает армию, в одном отчаянном порыве бросаются на мост. У самого берега стоят жандармы и сдерживают напор, коля саблями всех, кто подвернется. Люди давят друг друга, то и дело слышны вопли и стоны. Тот, кто упал, уже не может подняться, его мольбы не слышны, проходящие по живому лишь чувствуют, как судорожно руки павших цепляются им за ноги. Спасения нет ни для сильных, ни для слабых. Один рок витает над толпой, которая сама себя терзает. Мосты, порой, оказываются полупустыми – к этому приводит неразбериха и усилия жандармов. Паника возрастает с каждым часом. Не помня себя, люди бросаются вплавь и тонут в воде, напрасно цепляясь за проплывающие обломки льдин. Вот женщина падает в воду с ребенком в руках: она едва держится на поверхности. Солдаты протягивают ей приклад, однако неловкое движение, которым она пытается схватиться за ружье, губит обоих, вода смыкается над ними, как могила... Мосты ежеминутно трещат, когда они надламываются, в ледяную воду бросаются на починку понтоны. Из них никто, кажется, не выжил... Наконец, Наполеон решается переправляться. Колонна кавалерии разрезает толпу, освобождая проход к одному из мостов. Наполеон идет в сопровождении гвар-

дии. Кто-то кричит: «Да здравствует император!», – но суммарный вопль агонизирующего живого клубка глушит восклицания преданности. Наполеон идет, словно на прогулке в Булонском лесу – сложив руки за спину и глядя перед собой. Так он не раз ходил на поле боя, и все принимали эту позу как выражение презрения к опасности и веру в провидение. Такой отрешенный вид был уместен под пулями неприятеля, а среди умирающих, втоптаных в грязь, производил жуткое впечатление. Лишь на миг отвлекся Наполеон, когда рядом с ним оказался майор фон Грюнберг, он нес под своим плащом маленькую левретку, которая жалко дрожала. Бонапарт вдруг заметил ее, сухие до этого момента глаза его – заблестели, взор смягчился. И вот среди криков раненых, воплей умирающих император обратился к майору с вопросом: не хочет ли тот продать ему собачку?

Фон Грюнберг отказался, сказав, что левретка дорога ему, поскольку проделала с ним всю кампанию. «Но, если Ваше Величество пожелает, я готов предоставить ее в ваше распоряжение», – добавил майор.

Наполеон умилился такой привязанности и сказал с легкой улыбкой:

– Я понимаю ваши чувства к этому животному, это делает вам честь. Сохраните его себе, я не хочу вас лишать его.

Остается добавить, что переправа продолжалась еще сутки, сколько людей мы там потеряли – не счесть, говорят, что до 25 тысяч. Но почему-то из всех ужасов тех дней именно

история с собачкой запомнилась мне сильнее прочих. Верно – из-за императора, который даже самое малое дело своим участием производит в событие историческое. Впрочем, я видел Наполеона и в лучшие дни, среди сражений, где он был по-настоящему велик, – завершил я свой печальный рассказ.

– Несомненно – велик, – подхватил Пушкин, – как бывает велик ураган. Поневоле дивишься его силе, а если он пронесется мимо, не задев тебя, то ты приписываешь ему и благородство, и человеколюбие. Наполеон и был таким ураганом. К сожалению, умиротворение революции, ответы врагам Франции послужили лишь для накопления этим ураганом мощи. Франция под рукой Бонапарта могла бы процветать, стать одной из первых империй мира, однако ж, Наполеон предпочел благополучию родины славу Цезаря и Александра Великого. Он далеко прошел по этому пути, но трудно представить, что, даже разбив все армии мира, можно этот мир удержать в руках. Мне гораздо ближе Петр. Он не пытался завоевать Европу, его заботой было процветание Государства Российского. Его правление было жестоким, но благотворным для России. Жаль, что потомки не шли твердой поступью по его пути.

– Выпьем за Петра Великого, которого недостает России.

– За Петра! – кивнул Александр Сергеевич, поднимая бокал. – Теперь, когда Россия является частью Европы, ему бы не потребовалось брать в руки топор, и память потомков была бы к нему благосклонней.

– Но Петр Первый многое сделал и для просвещения России, – заметил я.

– Верно, Фаддей Венедиктович, и это теперь торный путь для Российской Монархии. Просвещенная монархия есть и цель, и средство улучшения жизни страны. И тут перед нами – целина непаханая, борода нестриженные!

Смуглое лицо Пушкина сияло в свете свечей, видно разговор увлек его, разбудив дремавшие мысли.

– Давайте выпьем за нас, Фаддей Венедиктович. Ведь мы могли бы многое сделать на этом поприще.

– И делаем: труды ваши, Александр Сергеевич, на ниве русской словесности велики есть, я же...

– Нет, Булгарин, вы не поняли, – Пушкин вскочил, взгляд его устремился точно сквозь стену. – Вообразите: я становлюсь первым поэтом России... Да это уже случилось: Жуковский – романтик, Крылов – баснописец, оба они уже пережили зенит своей славы; я – еще нет. Мое имя знают все – также как и ваше, Фаддей Венедиктович. Вы теперь самый известный и влиятельный издатель. Ваши журналы и «Пчела» способны вместе создать или разрушить репутацию, поддержать или развенчать идею и даже создать в обществе моду, движение. После того примера с африканским фруктом, что вы мне показали, я это отчетливо понимаю. Объединив силы, вступив в союз, мы могли бы совершить много полезного для Отечества! Такое согласие между нами не осталось бы без внимания Его Величества, когда два столь разных че-

ловека взялись бы дружно за какое-то дело, то и государю пристало прислушаться к их мнению!

– Прекрасная мысль, Александр Сергеевич, – сказал я. – Я с радостью участвовал бы в таком союзе, но я вижу много препятствий для него.

– Знаю, что вы скажете, Фаддей Венедиктович, но все это пустяки. Выгоды такого союза столь велики, что перед ними должны отступить личные амбиции, счесть, смириться любые чувства неприятия. Всякий разумный человек, желающий России добра, должен увидеть здесь одно благо и пристать к этому союзу или не меньше, чем смириться с ним. Да! Это отличная мысль. Выпьем же за наш союз, Фаддей Венедиктович!

Я с удовольствием поддержал тост. Пушкин, выпив, кинулся мне в объятия. Мы трижды расцеловались. Неожиданность и яркость этой минуты навсегда запечатлелись в моем сердце. Глаза Пушкина сияли, он бредил блестящим будущим, которое внезапно открылось перед нами. Мы снова выпили.

– Только союз этот должен быть не просто объявлен... Может быть и вовсе не объявлен. Он сам должен явиться через дела наши. И не просто дела: тут нужно придумать настоящую программу! – Александр Сергеевич говорил отрывисто, вдохновенно, сильно жестикулируя.

– Да, – согласился я, – много примеров тому, что иные дела заканчиваются тем, с чего начинаются – одними пусты-

ми разговорами. И дела, кои мы себе наметим, должны быть велики и достойны. Нет резона заниматься частностями, для того найдутся другие люди.

– Согласен с вами. Цели наши должны быть великими, – сказал Пушкин. – И дела нужно намечать сообразно им. Об этом подумать надо. Вы человек более систематический, Фаддей Венедиктович, вам и карты в руки... ха-ха, хотя, как раз к картам, мои, пожалуй, привычнее. Но, теперь недосуг решать такие дела, все-таки я сестру замуж выдал и теперь должен своему «Онегину» новый финал придумать. У меня ведь сестра отняла старый: Татьяна и Евгений должны были бежать, а теперь это стало невозможно. Как вы думаете, Онегин и Ларина соединятся?..

9 мая 1813 года. Второй день идет Бауценское дело: мы выстояли и готовы перейти в контратаку против русско-прусских войск под командованием генерала Витгенштейна, того самого, кто пресек поход маршала Ундино на Санкт-Петербург. После смерти Кутузова генерал был назначен главнокомандующим над союзными русскими и прусскими войсками.

На аванпост, который я проверял, вдруг выехал Император со свитой. Его Величество спешил, я бросился к нему с рапортом. Наполеон выслушал мой доклад, кивнул и спросил.

– Давно ли вы служите?

– Это мое ремесло, Ваше Величество: имея шестнадцать лет от роду, я познакомился с пушечными выстрелами.

– Что вы думаете о казаках?

– Они храбрые солдаты, однако ж приносят больше пользы в лагерной службе, нежели в генеральном сражении.

– Правда! Случалось ли вам драться с русской пехотой?

– Случалось, Ваше Величество! – ответил я. – Отличная пехота и достойная соперница пехоты Вашего Величества.

– Он прав, – заметил Наполеон, оборотясь к Нею.

– Я говорил об вас с вашими подчиненными, – сказал мне далее Наполеон. – Я доволен вами. Если вы будете в чем-то

иметь нужду, отнесите прямо ко мне, и припомните наше знакомство под Бауценом. Прощайте! Желаю вам скоро быть капитаном!

Потом император сел на лошадь.

– Бертье, запишите имя господина офицера! – приказал он.

Я поклонился, и Наполеон уехал шагом к эскадронам гвардейских улан.

Закончив проверку постов, я через час вернулся в полк, где мой командир первым встретил меня словами: «Здравствуйте, господин капитан!» В полку уже был прочитан приказ о моем производстве. Мои приятели-офицеры поспешили с поздравлениями. Мы распили от радости несколько кувшинов старого вина. Я вспоминал ласковое обхождение Императора, его слова и в красках описывал моим товарищам. Они были в восторге, а я еще и еще раз переживал одну из редких в жизни человека минут счастья.

Судя по солнечному лучу, нашедшему щель между портьерами, дело было к середине утра.

Сладко.

Я потянулся до истомы и прикрыл глаза.

Редко-редко снятся такие легкие сны. О-о! Я открыл глаза, возбужденный неожиданной мыслью: ведь мы говорили

о Наполеоне с Пушкиным! Только вместо приятной истории знакомства с императором и своего производства в капитаны я рассказал Александру Сергеевичу один из черных снов – переход через Березину. И прошлые разы было все так же, но наоборот: мы касались какой-то темы, я не рассказывал ничего страшного, и страшное приходило ко мне во сне. Теперь я это рассказал, и мне приснился хороший сон. Что за оказия с этим Пушкиным? Магнетизм какой-то, притягивающий противные рассказам сны? Вдруг так можно отвязаться от кошмарных видений – пересказывая их наяву Пушкину? Бред. Но сегодня все сложилось к лучшему.

У меня настала минута той особенной утренней ясности, когда легкий сон отлетел, голова свежа и еще не занята ежедневными хлопотами. Скоро, скоро начнется редакционная суета, побегут курьеры, посыплется циркуляры, цензурные пометки и прочее, и прочее. Люблю ли я такую свою жизнь? По чести – люблю! Эта жизнь в чем-то похожа на военную: тут каждый день, каждую минуту возникает новая ситуация, каждый час нужно принимать решения, выстраивать тактику, сражаться с цензурой. Эта деятельность согласна моему темпераменту. Кроме того, ни на одной другой ниве я не добился бы большего. В купцы я не подхожу по рождению, в генералы и сановники бывшему капитану французской службы путь заказан. Так и осталось – перо да бумага. И этим инструментом я сделал свою карьеру. Но одной такой жизни издателя мне мало, нужна еще и цель.

Сейчас я неустанными трудами добился исключительно-го положения на ниве газетного и журнального издания. Это принесло мне определенное положение в обществе (не столь высокое, каковое многие занимают лишь по пустому праву рождения), денежную независимость, право высказывать свое мнение. Однако ж, как и другие, я не смею перечить начальству и от него завишу. Зависимость это тягостна и презираема многими литераторами, пишущими свободно и не входящими в хлопоты издания. Но пишут они не политику, а лирические пиесы. Попробовали бы они написать статью не с нападками, а только с намеками... А кто пробовал – тот уж отсоветует. Мой успех вызывает зависть и презрение. Стоит оступиться, и меня затопчут, как тех несчастных на переправе через Березину. Меня в том походе 1812 года спасла приверженность Польше и Наполеону, а при Березине – умение быть полезным. Такой приверженности я больше ни к кому испытывать не могу, а вот полезным быть умею. Презренное умение, но ему есть оправдание, по крайней мере, в моих глазах. Там, на Березине, смерть грозила всей армии, я помог найти место переправы, сделал все, чтобы спасти людей. Но картина потерь до сих пор мучит меня по ночам. А нежная забота Бонапарта о собачке среди страждущих спасения утвердила меня в мысли, что вершители мира меньше всего интересуются судьбой тех, чья кровь служит к исполнению их великих замыслов. Так было всегда. От времен Александра Великого, который в наказание за неповинове-

ние послал армию, принесшую ему столько побед, через пустыню. Солдаты умирали у него на глазах от зноя, а он, говорят, горевал только по Буцефалу, своему любимому коню. Наполеон, вот, презрел левретку. Следующий великий завоеватель спасет среди мировой бойни бабочку?

От этих мыслей мне делается страшно, как посреди кошмара. Уж верно, избегнув стольких опасностей на полях сражений, я должен чем-то значительным наполнить мою мирную жизнь. Польза, которую я хотел бы принести моему новому отечеству хоть в малой мере должна искупить все неправое и подлое, содеянное мной. Всякий ли старый вояка должен чувствовать вину за то, в чем ему пришлось участвовать? После Березины я уже не мог, как прежде, абсолютно чистосердечно восхищаться Наполеоном. Он сделал меня капитаном гибнущей армии, которую император раз за разом бросал против войск целой Европы. Зачем я выжил? Зачем мне Господь дал новую жизнь в России? Верно, она и была моим предназначением, коли Провидение дважды направляло меня сюда: в отрочестве, и после крушения империи Наполеона. Как за десяток лет я, иностранец, служивший врагу в офицерском чине, изгой, сохранивший привязанность лишь избранных друзей, сумел сделать карьеру издателя? Неужели одним бойким пером и приятным обхождением? Разве тут не обнаруживает себя рука Провидения?

В рамках дозволенного я имею и вес, и мнение. Мнение это, смею думать, со станицы «Северной Пчелы» становится

мнением многих людей. За это можно и от Бенкендорфа потерпеть, и Родофиникина уважить. Но не пользоваться такой привилегией, дарованной мне публикой, значит зря хлопотать об остальном.

Куда направить это мое новое оружие? Старым я много накуролесил. Сначала обращал его против французов в Финляндской кампании, затем против испанцев и русских – в рядах наполеоновских улан. Первое случилось по воле судьбы, забросившей меня сначала в Шляхетский корпус, затем и на русскую военную службу. Второе стало исполнением долга перед первой моей родиной – Речью Посполитой. Белый орел был тогда моей путеводной звездой. Для поляков она оказалась несчастливой, видно суждено им вечно быть игрушкой в руках государей Европы, пресмыкаться перед теми, кто правит бал. А России суждена судьба их вечной, ревнивой и ревнуемой соседки. От того ее ждут бесконечные международные интриги и продлятся они до тех пор, пока Россия не вольется в европейскую семью действительным, а не формальным сочленом. Вот это светлое будущее России и есть цель для всякого благородного сердца. И в этом деле возможны любые союзы; пример тому – Пушкин, вдруг заговоривший о том, что он мог бы объединиться со мной. А ведь все его друзья меня не любят. И он сам, до личного знакомства, может быть, был не лучшего мнения на мой счет... И вот, одолев первую неприязнь, он уже разглядел во мне возможного союзника. Я о таком и не мечтал. Мысль была

– да, не отрицаю, но она мелькнула также, как возникает ответ, когда видишь на ученической доске $1+1$ – помимо внимания, окольным путем. Так, оценив обе наши фигуры, поставив их рядом, я невольно производил сложение – как напращивалось. Такое сложение дает не 2, а 22 – вот как вырастут наши силы от сложения их в одном направлении. Тут невольно арифметикой займешься! Первый поэт, властитель дум вместе с первым издателем, редактором крупнейшей газеты, которой чиновники, мелкопоместные дворяне, купечество верят, как Евангелию – это ли не сила! Но сила не стихийная (поэтическая), а организованная, логическая.

Ведь талант Пушкина требует огранки. Нет, не литературной, Боже упаси, а именно издательской. Где, когда и что публиковать, как подать, как предуведомить публику – вот что знаю и умею я. И могу. А Александр Сергеевич с его порывами вечно рискует. А таким человеком, вернее, таким талантом Россия рисковать не может. Любой неосторожный шаг чреват опасностью, Пушкин на дню может совершить их десять! Кто удержит и подскажет ему? Вяземский далеко, в Москве, Соболевский – гуляка праздный, Дельвиг не смеет возразить ни в чем, Плетнев не дальновиден и прочие – так же. Нет у Пушкина верного плеча. Точнее – не было. Ему надобен помощник, который мог бы направить его, а в трудную минуту поддержать. Я мог бы стать таким человеком – с моим опытом и оборотистостью. Александр Сергеевич нуждается в водительстве. Если я – вспыльчивый поляк, то он

– вспыльчивый африканец. Я слышал, что в молодости цыганка нагадала ему смерть от белого человека. После этого Пушкин взял за правило испытывать всех встречаемых мужчин белой масти. Он нарочно ведет себя с ними так, словно хочет, чтобы его вызвали на дуэль. И это продолжается много лет – до сих пор. Что, если он, в конце концов, столкнется со злым шалуном, который убьет его? Разве мы можем быть столь беспечны, и наблюдать эти пустые и недостойные таланта игры со смертью!

Безусловно, Пушкин для его же пользы должен быть огражден от крайних проявлений собственного темперамента. Игрок, волокита – куда ни шло, но дуэлянт – это слишком. Я довольно видел глупых смертей, чтобы верить в то, что лучших Бог бережет. Совсем не так устроен мир.

Пушкин мне доверяет, но доверяет как любому благородному человеку. А надобно, чтобы доверял как другу. Как своему Дельвигу. А для настоящего сближения нужно время и, в первую очередь, общее дело. Тот самый союз, о котором так горячо сказал Александр Сергеевич – вот замечательная сама по себе идея и способ нам сблизиться. А для того, чтобы идея не осталась пьяной болтовней, нужно написать план, о котором говорил Пушкин.

Я вскочил с постели, потребовал кофе в кабинет и засел за работу. Составление планов – прекрасное занятие, оно похоже на путешествие в будущее. Каждый следующий пункт скачком переносит вас через все препятствия, мешающие

исполнению предыдущего. От пункта к пункту вы движетесь все дальше и вперед, перед вами предстает картина нового мира. Почти идеального...

Такого, что невольно все текущие дела забросишь.

Глава 9

Пушкин пропал, повредив ногу. Приезд в Петербург Александра Грибоедова. Я полностью поглощен старым другом. Пушкин затевает литературную войну с поэтом Великопольским. На ответ Великопольского Пушкин откликается вызовом. Сомов попал в секунданты, а я – в примирители. Мой рассказ о карточной дуэли, кончившейся убийством. Щепетильность Пушкина уступает разуму. Война с Великопольским завершается миром. Пушкин в отчаянии, ради него я оставляю Грибоедова. Проповедь о Просвещении. Отклик Пушкина; наш спор о путях Просвещения.

Несколько дней от Пушкина не было никаких вестей, и я стал беспокоиться, но тут пришла короткая записка, объясняющая причину пропажи поэта совсем не по личным видам.

Милостивый государь, Фаддей Венедиктович!

Обстоятельства складываются против меня. Прошу простить мое невольное исчезновение на эти несколько дней, которое Вы могли счесть за ренегатство. Объяснение простое и глупое, какой часто бывает правда: я на лестнице повредил ногу. Теперь безвылазно сижу в гостинице, словно медведь в берлоге. Вернее, как старый медведь со сломанной ногой. Питт не может так выглядеть, фигура Фальстафа сносна для баснописца, но не для романтического поэта, каким меня считают. Поберегу репутацию до другого случая, потому гостей не принимаю, разве что Дельвига, когда тот не простужен. Я и без того выгляжу стариком на постели, а если еще начну чихать, то или умру со смеху, или заболею ипохондрией. Оба исхода мне не привлекают, в итоге – сторонюсь даже барона. Вам объявляю это прямо, а прочим знакомым приходится раздавать экивоки.

Я не скучаю нисколько. Но буду признателен, если вы, Фаддей Венедиктович, поделитесь со мной планами нашего общего дела. Надеюсь, что вскоре смогу лично засвидетель-

ствовать Вам искреннее почтение.

Александр Пушкин.



Письмо тронуло меня, и я тут же ответил запиской. Я и визит к раненому поэту уже наметил, но в это время пришло новое известие, которое на время вытеснило мысли обо всем другом: в столицу прибыл драгоценнейший Грибоедов. Все свое свободное время я стал проводить около него.

Появление Грибоедова в моей жизни, его слова или молчание, просто его фигура рядом, делали меня покойным и каким-то уверенным, сильным. Слово я выздоровел после болезни, словно у меня до сих пор была одна рука, и я приспособивался к миру как мог, и вдруг обрел вторую – стал полным, полноценным, сильным, как никогда, совершенным, уверенным. Я и забыл, как это здорово – не хранить память о дружбе, а видеть друга рядом, всегда иметь возможность обменяться словом, жестом с человеком, который тебя полностью понимает, с тем, кому ты веришь, как себе, кто готов для тебя на все, а ты – для него. Иметь друга – это значит быть неуязвимым, бессмертным, возвышаться над другими людьми, но не как возвышаются аристократической спесью или разросшимся самомнением, а по особому праву – как обладателю двух умов, двух душ, двух сердец. Эта обретенная сила казалась мне самодостаточной. Ей не требуется поддержка, ей все по плечу. Планы мои показались мне осуществимыми. Правда – беда, я не мог в полной

мере поделиться ими с Грибоедовым – это знание стеснило бы его как высшего чиновника. Но мысли мои относительно будущего России Александр разделил полностью...

Спустя некоторое время после своего письма ко мне неожиданно явился сам Пушкин. Как всегда веселый, но с тростью в руке – он еще прихрамывает после падения на лестнице. Александр Сергеевич с порога объявил, кто выманит его из демутовой берлоги.

– Великопольский! Фаддей Венедиктович, вы читали, что написал этот сукин сын, а?! – закричал Пушкин с порога, сияя белозубой улыбкой. – Он, видите ли, порицает игроков, он – тот, кто сам мечет банк при первой возможности. Да еще так бездарно! Впрочем, и стихи его тоже всегда в проигрыше.

– Так что ж? – возразил я с улыбкой. – Верно, он знает, о чем пишет! Лучший критик тот, кто сам изведал порок. Кто больше всего твердит нам о вреде пьянства? Люди, которые протрезвятся только в гробу!

– Хорошо сказано, Фаддей Венедиктович! – воскликнул Пушкин. – Но если плохой игрок, подчас, подарок для своих соперников, то плохой поэт – никому ни в радость. Да еще с претензией дать нам мораль! Да это возмутительно также, как если бы висельник учил нас читать псалтырь. Он порицает тех, кто более удачлив в игре, а вернее – более умен, чем он.

– Да что вам в том, Александр Сергеевич? Забудьте!

– Лишь когда будет опубликован мой ответ. – Пушкин протянул мне листок.

Я прочел «Послание к В., сочинителю Сатиры на игроков»:

*Некто мой сосед,
На игроков, как ты, однажды
Сатиру злую написал
И другу с жаром прочитал.
Ему в ответ его приятель
Взял карты, молча стасовал,
Дал снять, и нравственный писатель
Всю ночь, увы! понтировал.
Тебе знаком ли сей проказник?..*

– Эк вы его припечатали, Александр Сергеевич! Стоило ли?

– Непременно. Пусть – исходя из вашего замечания – или делается трезвым сатириком, или уж окончательно спивается, и в том находит удовлетворение.

– Будет вам, обычная безделица! – воскликнул я. – Есть дела и поважнее, неужто в самом деле это вас так задевает?

– Я его еще при встрече обыграю! – с запалом ответил Пушкин, потрясая тростью.

– Саша, осторожно! – в дверях возникла обеспокоенная физиономия барона Дельвига.

– Вот, Фаддей Венедиктович, барон всюду за мной ходит, словно нянька за шалуном! – пожаловался, но без всякого

раздражения, Пушкин. – Что ты надо мною квохчешь, Антоша?

– Твоя нога еще не зажила, Александр, едем в гостиницу или к нам. Добрый день, Фаддей Венедиктович, – кивнул мне барон.

Я молча поклонился. Столь впечатляющий знак дружбы мне показался скорее смешным и неуместным. Верно, барон забыл, что его товарищу скоро уж тридцать лет.

– Так непременно напечатайте! – наказал еще раз Пушкин, увлекаемый Дельвигом.

– Мое почтение – Софье Михайловне! – успел сказать я вдогонку.

2

Впрочем, восторг мой от приезда дорогого Грибоедова не мог нарушить ежедневной привычки работать в редакции. Газета на самом деле больше похожа на фабрику, чем на клуб литераторов, если кто так, не зная дела, воображает. Каждый должен исполнять свою работу, иначе фабрика ничего не выделает, и фабрику можно закрывать.

Разбирая однажды почту, я наткнулся на новое письмо Великопольского. Верно, я и забыл, что псковский банкومت, скорее всего, не смолчит. Тем более, слышал я, что Великопольский и Пушкин писали друг другу сатиры и ранее.

С твоим проказником соседним

Знаком с давнишней я поры:

Обязан другу он последним

Уроком ветреной игры.

Он очень помнит, как сменяя

Былые рублики в кисте,

Глава «Онегина» вторая

Съезжала скромно на тузе.

Блуждая в молодости шибкой,

Он спотыкался о порог;

Но где последняя ошибка,

Там первой мудрости урок.

Как говориться: милые бранятся – только тешатся. Я приказал Сомову сделать список и отвезти его Пушкину. Об исполненном деле я тут же забыл, углубившись в чтение материалов завтрашнего «Иностранного отдела». Затем я соби-рался ехать к Грибоедову. Вдруг через какой-то час ко мне в кабинет влетел растрепанный Сомыч.

– Дуэль! Дуэль будет!

– Какая еще дуэль? У кого? – не понял я.

– У Пушкина! Только прочел он список послания Великопольского, как лицо его потемнело от прилива крови. «Мерзавец! – кричит, – ты мне ответишь!». И тут же Александр Сергеевич стал звать меня в секунданты. А я сразу к вам, Фаддей Венедиктович, поскакал.

– Вот незадача! – я вспомнил воздетую, как сабля, трость Пушкина. – Эк его опять разобрало.

– Скорее, Фаддей Венедиктович, едем, не то Александр

Сергеевич вызов пошлет и вся недолга! Я слышал, что Иван Ермолаевич стреляет изрядно, как никак – офицер в отставке.

– Конечно, я поеду, – заторопился я, удивляясь такому сумасбродству поэта. – Позови Николай Иваныча!

Я наскоро передал дела явившемуся Гречу и двинулся к выходу.

– Я нарочно извозчика не отпускал, – семеня рядом Со-мыч, – чтоб скорее вернуться.

– Молодец... Ты что, со мной собираешься?

– Так ведь меня Александр Сергеевич в секунданты звать изволил, я не могу без ответа оставить такое предложение.

На подобное зазнайство я только хмыкнул, но сомовский извозчик был, действительно, кстати. Когда мы подъехали к гостинице Демута, где квартировал Пушкин, я сказал:

– Вот что, Орест Михайлович, ты пока не ходи к нему, я надеюсь бурю обуздать, так что со своим политесом подожди здесь. Когда мы сговоримся, я тебя вызову.

– Но как же манкировать... – Сомов даже привстал в возке.

Я в упор глянул на журналиста. Он сразу сник.

– Хорошо, Фаддей Венедиктович. Я подожду.

Пушкина я нашел в положении льва, оказавшегося вдруг в клетке. Он носился по своей комнате, распахнув рубашку от внутреннего жару.

– Фаддей Венедиктович! Что вы скажете на это! – Пуш-

кин потряс передо мной листком, в котором я опознал сомовский список.

– Да ничего особенного не скажу, Александр Сергеевич. Ведь...

– Мерзавец! Я так ему и написал! – махнул Пушкин в сторону бюро. – Наглец! Извольте, Фаддей Венедиктович, вы человек военный... будьте моим секундантом! У вас есть пистолеты?

Я подошел к столу и прочел прыгающие строчки:

Милостивый государь!

Вашу станцу мне показал Булгарин, прося согласия на ее печатание. Я не только не даю о том своего разрешения, но довожу до Вашего сведения, что считаю ее для себя оскорбительной. Упоминание моего Онегина есть прямое на меня указание и прямой урон моей чести, а этого я не потерплю ни от кого. Ни от близкого, ни от высшего, а Вы не являетесь ни тем и не другим – во всех смыслах этого выражения. Кроме того, не пристало Вам делать moralite той привычке, в которой Вы сами преуспели изрядно. Как говорится: нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Впрочем, если Вы принесете мне извинения в письменной форме, я готов Вас простить с тем, чтобы впредь не подвергаться подобным нападкам. В противном случае я требую решить дело как то велит оскорбленная честь. Мои секунданты это устроят.

Пушкин.

– Я спрашиваю: пистолеты у вас есть, Фаддей Венедикто-

вич?

– Позвольте, Александр Сергеевич, но письмо ваше не дает господину Великопольскому шанс извиниться! Оно так составлено, что если он и хотел бы кончить миром, то ваши слова его оскорбят и настроят самым воинственным образом.

– Этого я и желаю! – воскликнул Пушкин. – Я еще не все изложил, что имею сказать этому господину. Он плохой поэт и никудышный игрок – все это знают, и ему самому пора в том стать осведомленнее!

– Помилуйте, Александр Сергеевич! Я уверен, что Иван Ермолаевич вовсе не хотел вызвать в вас такой бури.

– Нет, я, напротив, уверен, что оскорбления обдуманы и тем еще более обидны.

– Нет, вы ошибаетесь и тем ставите и себя, и Великопольского в безвыходное положение.

– Когда задета честь, логика не имеет значения.

– Но это совсем не так, уверяю вас, Александр Сергеевич! – я почувствовал жар и сбросил шубу в кресло. Кажется, разговор наш из безделицы упорством Пушкина превращается во вселенскую проблему.

– Осталось запечатать, – сказал поэт и схватил письмо.

Жарче мне быть не могло и вдруг стало зябко. Я неожиданно подумал, что Пушкин с таким вздорным характером постоянно ходит под ножницами Парки. Если бы по каждому ничтожному поводу затевались дуэли, но народу в Петер-

бурге давно бы не стало. Одних бы перестреляли, а выжившие за нарушение закона отправились бы солдатами на Кавказ. Я и не думал, что он так легок на подъем! Да и все они – лицеисты – не в меру самолюбивы. Помнится, Дельвиг вызвал меня года два назад и тоже по литературным делам. Вот достойный пример!

– Александр Сергеевич, литературные дразги не повод для дуэли. Припомните, Антон Антонович также меня вызывал – но я сдержался.

– Помню. Не жалеете?

– И сейчас я свой ответ повторю: я крови видел больше, чем барон чернил, и оттого ничего хорошего в дуэлях не нахожу. А не сдержись я тогда, у вас, господин Пушкин, скорее всего, не было бы преданного друга. Кто бы от того выиграл?

– Антон счел себя оскорбленным и ответил на это. Я поступаю также. Вы сочли нужным отказаться – ваше право. Вы вояка, вам это в вину не поставят... хотя было, я слышал, даже вам – ставили. Я так своей репутацией рисковать не могу! – начав спокойным тоном, Пушкин закончил речь горячо, фортиссимо. Эдак он от любого моего довода еще больше распалится.

Я взял поэта за руку и заставил его сесть на диван. Тот с трудом уступил. Сам присел рядом.

– Вот погодите, Александр Сергеевич, я вам другой случай приведу. Дело было во время Шведской войны. Преображенский полк Федора Толстого-Американца тогда стоял

в Парголове, – и несколько офицеров собрались у графа играть. Толстой держал банк в гальбе-цвельфе. К игре пристал молодой Александр Нарышкин. В избе было жарко, и многие гости по примеру хозяина сняли свои мундиры. Покупая карту, Нарышкин сказал Толстому: «дай туза». Граф положил карты, засучил рукава рубахи и, выставя кулаки, возразил с улыбкой: «изволь», намекая на то, что от слова «туз» есть еще и «тузить». Это была шутка, но неразборчивая, и Нарышкин обиделся. Бросил карты и, сказав: «Постой же, я дам тебе туза!» – вышел из комнаты. Мы употребили все средства, чтобы успокоить Нарышкина и даже убедили Толстого извиниться, но Нарышкин был непреклонен, говоря, что если бы другой сказал ему это, то он первый бы посмеялся, но от известного дуэлиста, который привык властвовать над другими страхом, он не стерпит никакого неприличного слова. Надобно было драться. Когда противники стали на место, Нарышкин сказал Толстому: «Знай, что если ты не попадешь, то я убью тебя, приставив пистолет ко лбу!». «Когда так, так вот тебе», – ответил Толстой, выстрелил и попал в бок Нарышкину. Рана оказалась смертельна. Александр Сергеевич, по вашему мнению, кто больше виноват тут? Кто грубо шутил, но потом извинился, или тот, кто довел свою обиду до гигантских размеров, отклонил приличное извинение, да еще пригрозил противнику так, что тому пришлось стрелять наверное?

– История поучительная, – сказал по раздумью Пушкин, –

но я на стороне Нарышкина. Он сделал все, чтобы сохранить в неприкосновенности свою честь, а что пришлось погибнуть – так это судьба. Я, знаете, Фаддей Венедиктович, всегда дрался за честь и драться буду, и не отступлю, даже если это приведет меня к гибели!

Голос Пушкина снова набрал грозную звонкость.

– Не спешите погибнуть как дурак! – оборвал я его.

Пушкин вскочил с дивана, лицо его потемнело.

– Что, – спросил я, – теперь вызовите на дуэль меня? Поставите в очередь за Великопольским? За ним я не встану.

Пушкин блеснул мимолетной улыбкой и сел.

– Что вы имеете в виду?

– В делах чести главное не выглядеть смешным – то есть дураком. Вы царь поэзии, а царь не может драться с мелкопоместным отставным поручиком. Это смех, а не соперник. Представьте, если он убьет вас, то скажут – глупо погиб Пушкин! А если, не дай Бог, вы убьете его и прославитесь в том? Лестно вам будет закончить жизнь убийцей плохого поэта и бездарного игрока? Он – благодаря вам! – войдет в историю, а вы, благодаря ему, кончите паяцем. В любом случае от дуэли он выиграет, а вы проиграете. Ставя его в необходимость драться (я уверен, что Иван Ермолаевич о том не помышлял), вы сами попадаете в безвыходное положение комика. Если вы можете пригвоздить его стихом и разорить, мечя банк, то не используйте против такой слабой фигуры оружие последнего довода – пистолет. Приберегите

его для достойного противника, с которым любой исход не будет смешным.

– Ваши слова убедительны, но моего отношения к Великопольскому не отменяют.

– Александр Сергеевич, не создавайте безвыходной ситуации, – я подвел Пушкина к столу.

– Но это вовсе не означает, что...

– Я знаю, Александр Сергеевич, – сказал я, усаживая поэта. – Пишите скорее.

– Торопитесь?

– Ни мало. Просто у меня Сомов в возке мерзнет – на случай, если вам немедленно понадобится секундант.

– Вот с Сомовым мы бы быстро сладили дело! – рассмеялся, наконец, Пушкин. Он взял перо и стал писать новое письмо.

Милостивый государь Иван Ермолаевич!

Булгарин показал мне ваши стансы, написанные в ответ на мою шутку. Он сказал мне, что цензура не пропускает их, как личность, без моего согласия. Редкий случай, когда я с нашей ценсурой согласен и без всяких оговорок:

«Глава Онегина вторая

Съезжала скромно на тузе»

и ваше примечание – конечно, личность и неприличность. Мне кажется, что вы на меня рассержены. Давал ли я повод? Если вам даже так казалось, то прежде, чем печатать подобную стансу, стоило показать ее мне – вашему

старому товарищу. Мне со своей стороны видно, что вы таким поступком стараетесь со мной поссориться и довести дело или до драки, или до того, что я включу неприязненные строки в восьмую главу «Онегина». Она отомстит за вторую – которую, к вашему сведению, я не проигрывал, а только заплатил ее экземплярами долг, как вы мне свой – не своими, а, кажется, родительскими алмазами. Что, если это возражение прочтет публика?

Не злитесь и не сердите меня, и тогда при первом свидании мыведем счеты не у барьера, а за карточным столом.

До встречи,

Ваш А.П.

– Позвольте прочесть, – спросил я, и Пушкин безропотно протянул письмо. – Александр Сергеевич, если в первом письме оскорблений было с избытком, то во втором их как раз довольно, чтобы затеять дуэль. Прогресс очевиден, но сути дела он не изменил – Великопольский вас вызовет. Совет показывать вам стансы перед публикацией, намек на чужие алмазы, а которых вы напишите не где-нибудь, а в вашем знаменитом романе – к чему все эти задиры? Ведь вы же решили, что драться не стоит.

– Это не я решил, а вы меня поколебали, Фаддей Венедиктович, – возразил Пушкин. – Я чувствую себя оскорбленным, и скрывать этого не считаю нужным.

– Так послушайте до конца, смягчите еще. Так, чтобы задеть, но не ранить. А если вы ставите ему выбор меж-

ду оскорбительной и позорящей публикацией и дуэлью, то, как дворянин, Великопольский выберет второе. Вернее, вы опять оставили его без выбора. Правьте еще...

– Но Фаддей Венедиктович...

– Я в своих словах уверен, прислушайтесь, Александр Сергеевич, умоляю вас. Ведь это может повредить и нашим планам.

– Но слабость, проявленная в вопросе чести, также опасна...

– Иначе я призову Сомова, а сам уеду и на вас обижусь не в шутку!

– Будь по-вашему, – Пушкин снова уселся за стол и написал уже полулюбезное письмо, оставив, однако ж, угрозу прописать Великопольского в «Онегине». Более от него и ждать было нельзя, зная его крутой нрав. Я и так добился, на первый взгляд, невозможного – теперь дуэль отложится до новых выходов с обеих сторон.

– Я сам письмо отправлю, чтоб вы не передумали, – сказал я, убирая бумагу в карман.

– Согласен, но с тем, что вы обещаете показать мне ответ Великопольского – не будет ли там новых намеков или стихов похлеще!

Щепетильность или вспыльчивость тому причиной, но Александр Сергеевич вел себя в этом деле с опасностью. Без советчика с холодной головою он в любую минуту может ввязаться в историю.

Я еще поболтал с ним о последних литературных пустяках с тем, чтобы увериться, что прежняя вспышка гнева без меня уже не возобновится. Затем я откланялся – говорить о серьезном у обоих уже не было сил, и мы условились назначить специальное время.

К Грибоедову я в тот вечер уже не попал, Пушкин со своей обидчивостью занял все мое время...

Великопольский не преминул ответить, да и понятно – я бы, сидючи в Пскове, также не упускал повода измарать перо. И то спасибо, что письмо пришло ко мне.

«...А разве его ко мне послание не личность? В чем оного цель и содержание? Не в том ли, что сатирик на игроков сам игрок? Не в обнаружении ли частного случая, долженствовавшего остаться между нами? Почему же цензура полагает себя вправе пропускать личности на меня, не сказав ни слова, и не пропускает личности на Пушкина без его согласия?.. Пушкин, называя свое послание одною шуткою, моими стихами огорчается более, нежели сколько я мог предполагать. Он дает мне чувствовать, что следствием напечатания оных будет непримиримая вражда. Надеюсь, что он ко мне имеет довольно почтения, чтобы не предполагать во мне боязни».

Список письма Великопольского я без всякого опасения отправил Пушкину. Иван Ермолаевич действительно не хотел ссоры, в чем Александр Сергеевич мог теперь убедиться воочию. Ему, мне кажется, было бы жаль лишиться если не слабого поэта, то картежника, которого даже сам Пушкин, славный своими проигрышами, легко обыгрывает. Человек, облеченный таким талантом, заслуживает всяческого снисхождения.

Я написал Ивану Ермолаевичу самый любезный и примирительный ответ в красках описав смятение Пушкина от их ссоры, его дружеское и искреннее расположение к Великопольскому, присовокупив, что «заносчивость Пушкина – от его смущения, а не по летам мальчишеская горделивая щепетильность кажется наглостью только до первого дружеского слова, от которого и тает без следа».

Наконец, дело завершилось, однако – сколько хлопот при таком ничтожном поводе!

В один из вечеров, каковые я обычно проводил у Грибоедова в узком кругу знакомых, где я старался быть непременно участником. Он жил тогда в одной гостинице в Пушкиным – у Демута. Мы разговаривали о Шекспире, и Грибоедов особенно отмечал «Бурю», он находил в ней красоты первоклассные.

– Шекспир писал очень просто, – говорил также Александр Сергеевич, – он немного думал о завязке, об интриге и брал первый сюжет, но обрабатывал его по-своему. В этой работе он был велик. А что думать о предметах! Их тысячи, и все они хороши: только умеете пользоваться. Многие слишком долго приготавливаются, собираясь написать что-нибудь, и часто все оканчивается у них сборами. Надобно так, чтобы вздумал и написал.

Грибоедов считал, что оценить язык Шекспира можно только в подлиннике.

– Выучиться языку, особливо европейскому, почти нет труда: надобно только несколько времени прилежания. Совесть читать Шекспира в переводе, если кто хочет вполне понимать его, потому что, как все великие поэты, он непереволим, и непереволим оттого, что национален.

Пребывая на Кавказе, Александр Сергеевич посвящал себя не только военным и дипломатическим занятиям. В ча-

сы досуга он уносился душою в мир фантазии и сочинил план романтической трагедии и несколько сцен вольными стихами с рифмами. Трагедию Грибоедов назвал «Грузинская ночь», почерпнул предмет ее из народных преданий и основал на характере и нравах грузин. Широкое использование народных сказок и обычаев он перенял у того же Шекспира.

Перейдя с британского трагика на свои стихи, Александр Сергеевич стал читать отрывки «Грузинской ночи» и рядом с силуэтом этой трагедии, которая только вырисовывалась, словно новый литературный материк, terra incognita, его «Горе от ума» казалось лишь разминкой пера гения.

Вдруг в двери просунулся без стука (по привилегии нахальства) Сашка – верный слуга и молочный брат Александра Сергеевича, помаячил какой-то бумажкой, подошел и отдал ее мне. Оказалось – записка от Пушкина: *«Прощайте! Прошу Вас с пониманием отнестись к моему решению покинуть столицу, поскольку, верьте, имею к тому серьезные основания. Преданный Вам, Пушкин».*

– Кто принес? – спросил я, поворачивая бумагу с тем, чтобы отыскать какие-то поясняющие слова.

– Мальчишка что тут на посылках.

– Ответ ждет?

– Никак нет, сударь.

– Александр, я получил записку, требующую моего участия в срочном деле, вынужден оставить тебя.

– Так важно? – поджал губы Грибоедов, сбитый посреди блестящей декламации.

– Прости, пожалуйста, друг мой, – я подал Грибоедову руку и быстро вышел за дверь, куда уже нырнул гонец, принесший дурную весть.

– Полно, иди, коли надо, – напутствовал меня Александр Сергеевич.

Его полный тезка квартировал на соседнем этаже, в номере с окнами во двор – на северо-западную сторону. Я направился туда.

Дядька поэта Никита встретил меня в передней словами, что барин болеет и никого не принимает. Я просил сказать, что пришел Булгарин.

– Фаддей Венедиктович, вы?! Милости прошу! – сразу донеслось из комнаты Александра Сергеевича. Я прошел к нему.

Несмотря на разгар вечера, Пушкин был еще в халате (или уже – в халате) и лежал на кровати.

– Куда вы собрались? – после паузы спросил я, словно не замечая халата и вызывающей позы страдальца.

– Думаю уехать в деревню.

– Да ведь не сезон вам, осень-то еще не скоро.

– Ссылному все едино, да его и не спрашивают.

– Но государь, слава Богу, благоволит вам. Кто ж помимо монарха может сослать Пушкина?

– Дорогой Фаддей Венедиктович, я не чувствую себя сво-

бодным, меня выпустили из Михайловского чтобы запереть здесь. Ссылка в столице, безусловно, гораздо приятнее, но суть остается прежняя. Без высшего соизволения я не могу покинуть Петербурга. Давеча я просился на войну с турками – получил отказ. После хотел за границу, в Париж, но тоже не был отпущен. Думаю, даже в Китай мне пути не дадут. А я после ссылки не могу на месте сидеть, мне словно зудится. Хочу все видеть, всюду быть. Верно, сам сорвусь куда-нибудь, а уж потом буду снова в Михайловское водворен – так хоть заслуженно! Больше того угнетает другая несвобода – литературная. По освобождении государь обещал быть мне единственным цензором. Но со временем получилось так, что кроме высочайшей, я прохожу чистилище и обычной цензуры! У всех одно препятствие, а у меня – два. Дошло до того, что я стал вымарывать сам! Но это уже третье препятствие, которое растет внутри и еще быстрее двух первых. У меня много в запрещенном, в том числе «Годунов», а ведь его публикация, на которую не соглашается царь, могла бы меня реабилитировать. А новые стихи, бывает, приходится публиковать без подписи или под псевдонимом, в обход, так, чтобы цензор не всполошился. От этого я устал, я почти что отчаялся. Если ни мне, ни стихам свободы нет, то какая разница – где прозябать?..

Видно было, что Пушкин прежде обдумывал свое положение, а теперь не может удержаться в раздражении.

– А вы знаете, Александр Сергеевич, я считаю вопрос о

просвещении – наиважнейшим сейчас делом. Именно делом, потому что оно уже делается, но так ли хорошо? Верно, вы можете согласиться со мной, что не слишком хорошо. Я – поляк по рождению, мне близко все европейское, но я и русский – по воспитанию и внутреннему чувству. Так вот, в области просвещения я среди своих оснований не вижу компромисса, считаю, что поверять юношей на руки иноземцам есть величайшая глупость наша. Не может французский гувернер, часто сам едва умеющий писать и читать, воспитать русского в полном смысле этого слова. Вы здесь редкое исключение, Александр Сергеевич. Вернее, что гувернер воспитает в барчуке презрение ко всему русскому. Из-за этого дворянство делается чужеземною колониею в России, которая не знает ни языка отечественного, ни истории русской, ни обычаев, ни нравов. Что вырастет из такого пустоцвета? Как скажется на русской истории, не подрубит ли в будущем истинно русские корни, не лишит ли народ русский самоуважения? Я преклоняюсь перед европейским Просвещением, но нам необходимо свое, российское Просвещение. И только национальное просвещение даст русскому народу свободу. Просвещенный человек – свободнее непросвещенного, а для того, чтобы стал просвещенным народ, нельзя воспитание и просвещение ограничивать одной лишь дворянской кастой, круг его должен быть как можно шире. Национальный признак, по моему убеждению, стоит выше сословного. Это особенно ясно в минуты таких испытаний как война с Наполео-

ном – мне пришлось воочию повидать партизанскую войну в Испании и России. И свободы нельзя достичь для одного, свобода одного там же, где свобода тысяч.

– Верно, верно, свобода, конечно, прямо связана с просвещением. – Пушкин привстал на кровати, в его глазах зажегся интерес. – И только просвещение одно надежное средство предотвращать революционные взрывы. Я об этом и царю писал, но только Его Величество не внял моим словам. Он, мне кажется, держится другого мнения, и пока не наступит в том перемена, не наступит и наша свобода.

– Даже мнение царя можно поколебать.

– Но как? Как достучаться до высочайшего понимания? Каков ваш рецепт, Фаддей Венедиктович?

– Мысли эти не помещаются в газетной строке, зато ложатся в строку романическую. Потому я и пишу авантюрный роман. И там, среди массы приключений помещаю все, о чем думаю, о чем хочу сказать.

– Это ваш «Выжигин»?

– Да.

– Вы подаете мне ободряющий пример, Фаддей Венедиктович! – воскликнул Пушкин. – Теперь я лучше понимаю ваш план. – Но как вы уверены в том, что царь...

– А я не к царю обращаюсь. Я надеюсь, что роман прочтет много разных людей: дворян, военных, купцов, даже приказчиков и крестьян. Все грамотные люди России. И если многие из них примут мою сторону, то это уже что-то изменит.

Думая одинаково, они будут действовать одинаково, а также убеждать других в своей правоте. В идеальном результате мое мнение станет мнением большинства, а с этим уже нельзя не считаться, в том числе и царю. Путь сложный, но так можно чего-то добиться. И если я могу им следовать, то и должен.

– Теперь я понимаю ваш план! – сказал Пушкин, все сильнее оживляясь. – Более того, я задумал поэму, которая как раз в ладу с вашим планом – она о том, как складывается история Россия, куда ведет ее и кто должен быть кормчий. По крайней мере, я хочу дать понятие – как я сужу об истории. История не случай, а сумма слагаемых. Но властителю – умному, целеустремленному под силу ее изменить. Я полагаю, что мой «Мазепа» наделает шума, и царь не сможет сию поэму не заметить, собственно – он главный читатель и прочтет ее первым – на правах высочайшего цензора.

– Александр Сергеевич, неужели вы пишете специально для него?

– Нет, но, пожалуй, всегда помню, у кого право первой ночи. Смешно думать о мнении царя касательно лирического стиха (тут он рассудит просто как дворянин), но стих гражданский, политический – не должен попусту касаться его уха – он должен влиять. А за ним – и на общество.

– Ставить себя в зависимость от одного человека, пусть и властителя – не слишком ли унижительно для царя поэтов?

– И я, и мы – все от века – в зависимости, но я ставлю себя

не под ним – а рядом, на месте доброго советчика. И тут я, пожалуй, скорее добьюсь перемены в высочайшем мнении, чем вы, Фаддей Венедиктович!

– Мой путь длиннее, но вернее, я в смысле своего труда не сомневаюсь. А вы?

– Сомненья – незрелый плод раздумий. Быть может вы, Фаддей Венедиктович, уже дозрели до полной в себе уверенности, но позвольте другим сомневаться... Я полагаю, что усилия наши должны быть направлены на то, чтобы вырастить нового Петра Великого.

– Великий – он оттого и великий, что один на целый век приходится. Что ж делать другим – не современникам? Воспевать подвиги героя прошлого столетия?

– Показывать пример тому, кто должен стать его продолжателем!

– А если он не может? Как хромой – бегать?

– Пустое, он для того рожден, а значит, преграды нет, важно стремленье! А его можно возбудить, – сказал Пушкин.

– Сделать движение неизбежным, ограничить, заставить поступать как должно?

– Я не о том толкую. О создании мнения общества, в котором мнение царя – главная его составляющая.

– Не согласен... – Я выдержал паузу, чувствуя какое-то невнятное раздражение от спора, словно бы мы с Пушкиным заговорили вдруг на разных языках. Затем мне пришла примиряющая, как мне показалось, мысль.

– Но посмотрите, Александр Сергеевич, в нашем разногласии заложена и польза! Мы пишем для разных людей, вы – для царя и света, я для остальных – и это замечательно. Если бы наши усилия были направлены на один объект, то, производя одинаковое действие, они бы не добавляли ничего нового ко второму. Действуя на разных людей, разные условия, мы в сумме охватываем всю Россию.

– Верно, – признал Пушкин. – Действуя по-разному, мы добьемся большего, чем если бы повторяли друг друга. Да это и невозможно, мы сами с вами, Фаддей Венедиктович, весьма непохожи. Но тогда необходимо, чтобы мы совпадали в главном мнении. И тут опять возникает вопрос о роли царя в истории страны. Вы, я вижу, придерживаетесь здесь мнения энциклопедистов? Но ведь они безбожники и революционеры!

Я бросился в бой:

– Екатерина Вторая, сама будучи самодержцем, полезным считала общение свое с Вольтером и другими просветителями. Отчего же и нам не воспоследовать императрице?..

Спор продолжился за полночь, мы приводили все новые примеры – каждый за свою идею. Кажется, Пушкин все-таки со мной согласился, а Грибоедов на меня обиделся. Так получилось, что спор о Шекспире уступил спору о будущем России, а старый друг – новому.

Глава 10

Отъезд Грибоедова в Персию в ранге министра. Утешение от Пушкина. Я обещаю поэту достать место соредактора «Северной Пчелы» вместо Греча. Первый шаг в наших планах. Пушкин попал под следствие об авторстве «Гавриилиады». Мой совет. Я поддерживаю пушкинскую ложь перед Бенкендорфом. Пушкин решает сказать царю правду, даже навредив мне. Уговоры не действуют. Рассказ Пушкина о встрече с государем в Чудовом монастыре. Пушкин прощен. Я посвящаю ему «Эстерку». Грустное прощание.

Свершилось одно из самых горьких расставаний в моей жизни – отъезд любимого Александра Сергеевича в Персию. Он получил от царя 40 тысяч червонцев, высокий чин, но уезжал невесел. На пике дипломатической карьеры его отчего-то томили предчувствия. Он завидовал мне и другим, кто имел возможность заниматься литературным трудом. Грибоедов мечтал работать над «Грузинской ночью». Я вызвался опубликовать уже написанные куски новой драмы, но Александр отказался. Может быть он и прав, ведь это лишь наброски к картине. Однако ж сам я перечитывал их с удовольствием и делился ими с добрыми знакомыми.

Просились мы грустно, меланхолическое настроение Грибоедова передалось и мне. Отправляясь в путешествие, Александр Сергеевич написал мне с первой же станции: «Терпи и одолжай меня, это не первая твоя дружеская услуга тому, кто тебя ценить умеет».

Моя меланхолия прошла быстрее грибоедовской, – ко мне в тот же день к вечеру явился другой Александр Сергеевич и увлек меня на прогулку. Пушкин, как обычно, был весел и словоохотлив.

– Не переживайте за Грибоедова. Он теперь посол в ранге министра – к такой персоне прислушиваются короли. А Александр Сергеевич, с его умом и знанием Востока добьет-

ся новых великих побед на дипломатическом поприще.

– Я сторонился наших планов именно оттого, чтобы не повредить Александру, – признался я. – Из нашего поколения, из друзей, он едва ли не один достиг блестящего положения. Пусть его звезда поднимется еще выше и станет ориентиром для многих. Вернувшись из Персии, он много доброго и полезного сможет сделать.

– Ну, так и порадитесь за его блестящую будущность. Встряхнитесь! В конце концов, Грибоедов, будучи гусаром, сам веселился отчаянно... Вот, хотите – так закатимся в заведение к мадам Ленон – я там и Грибоедова видывал.

– Вы это серьезно, месье Пушкин?

– Да будто вы сами там не бывали, а, Фаддей Венедиктович?

– Бывал, но до женитьбы.

– А вот Дельвиг так об этом судит: то, что у вас есть дома кухня, вовсе не значит, что вы не можете бывать в ресторане.

– В таком случае он дурно на вас влияет. Лучше погрузиться в дела, чем в удовольствия – они длятся дольше и приносят более надежное удовлетворение.

– Да не будьте же таким ханжой, развеселитесь... Кстати! Я был давеча в той лавке – помните? – где продавали зеленые груши, которые вы называли аллигаторовыми. Хозяин совершенно ошалел от неожиданных барышей и хочет еще заказать аллигаторовой груши. Я пытался отговорить – да где там! Жадность одолела.

– Быстро, однако, перешел он от страха разорения к стяжательству. Впрочем, такова природа человеческая – человек или боится, или к чему-то стремится, а в покое не бывает.

– Так лавочник и не поймет никогда: откуда на него манна небесная свалилась и куда пропала? А ведь всю эту историю сделало одно ваше перо, – сказал Пушкин.

– Отчасти соглашусь. Верно то, что я во многом создал «Пчелу». А заметку эту кто угодно мог написать – Греч, Сомов – и эффект был бы тот же. Если писатель перед читателем стоит один, что в журнальном деле он опирается на конкретную газету, ее авторитет. Верит читатель газете – поверит и в новость об аллигаторовой груше. Да во что угодно поверит, но только один раз.

– Развиваете передо мной теорию газетного вранья? По мне так автор или честен или нет.

– Намеряете, что «Пчела» часто врет? – вспыхнул я.

– Как другу я это вам прямо могу сказать, – твердо сказал Пушкин.

– Как с другом я с вами спорить не буду. Абсолютной честности быть не может, по моему убеждению, как и абсолютного вранья. Нет-нет, да и оскоробишься – скажешь правду!

Пушкин заржал.

– Слыхал бы вас сейчас Вяземский!

– Да не ему судить, он сам – врун порядочный. Впрочем, извините, – сразу поправился я. – Я вовсе не хотел обидеть

вашего друга. Оборотимся лучше к вам: разве комплименты, которые расточаете, добиваясь дамы, не являются – строго говоря – враньем?

– Но это вранье другого свойства.

– В абсолютном смысле – ничуть. Да говори люди одну правду, все бы завтра же перестрелялись на дуэлях.

– Вы так судите о людях, потому что чувствуете слабость своей позиции газетчика, – сказал Пушкин.

– Да, но зато все, что преподносит газета, повторяют мои читатели. У меня самый большой тираж в России, и каждое слово правды стоит дорого... Хотите, Александр Сергеевич, мы вместе будем делать газету? Влияние «Пчелы», умноженное на талант вашего пера принесут небывалый эффект.

– А Греч? – отрывисто спросил Пушкин.

– Его я отставлю! Отступные заплачу, коли потребуется.

– А власти?

– Бенкендорфа уговорю.

– Вы делаете мне предложение...

– От которого невозможно отказаться, – закончил я мысль поэта. – Это будет не завтра, но будет непременно, если вы дадите согласие – даю вам в том мое слово.

– Не надо клясть, я вам верю, – сказал Пушкин, потупив голову.

– Подумайте, Александр Сергеевич, такой оборот мог бы очень пойти на пользу дела. Помните, что вы сами предлагали союз – вот вам встречное предложение. Газета – дело

хлопотное, но оно того стоит. Книгу вы пишете месяцы, а то и годы – насколько еще растянется ваш Онегин? Газета выходит трижды в неделю, вы можете написать о том, что услышали вчера и о том, что уже послезавтра будет неважно. И читателей у вас будет всегда ровно столько, сколько у газеты. У «Пчелы» сейчас тираж четыре тысячи плюс исключительное право на печатание политических новостей. У литературных журналов счет идет на сотни экземпляров и из-за границы они доставляют только новые моды.

– Предвижу сложности, но отказаться от заманчивого предложения я не в силах, – сказал Пушкин. – Боюсь, что с Вяземским мы можем разойтись.

– Мы же не разошлись с Грибоедовым, хоть он и не мог не заметить, что вы часто призывали меня, а я обязательно откликался...

– Это верно, – ответил Александр Сергеевич, но впал в задумчивость.

Я попытался расшевелить его расспросами о «Мазепе», но он отвечал односложно и картину новой поэмы я для себя не вывел. Пушкина все больше интересовало газетное дело.

– Фаддей Венедиктович, дело не столько в должности для меня, сколько в практическом исполнении наших планов. Как вы его видите, с чего, по-вашему, нам следует начать?

– Начинать придется издали, с шагов малозаметных. Ах, если б у нас во власти было другое понятие... Вот Наполеон, к примеру, в 1802 году предложил одному журналисту

возглавить правительственное издание, чтобы руководить общественным мнением. Журналист ответил: «Как только узнают, что издание контролируется правительством, ему перестанут верить». И Наполеон это принял.

– Но у нас об этом и речи быть не может, к сожалению!

– Согласен, – ответил я. – У нас до сих пор неременное условие существования всякой власти – чтобы перед ней смирялись, чтобы в ней видели всемогущество, полученное от Бога, чтобы в ней слышали глас самого Бога. Вот с этого нам и следует начать, по моему разумению.

– И как же бороться с этой скалой?

– Щелочку искать. Точнее – самим размывать, – сказал я. – Сегодня невозможна никакая критика текущих дел, всякая тема запретна, кроме умеренной литературной. Нужно найти щелку для того, чтобы из нее создать сначала лаз, проход, потом плацдарм. Нужно найти тему – самую безобидную для общественной жизни – и взять ее под свой контроль, заставить что-то изменить по нашему мнению. Пусть это будет конструкция сточных канав, подсчет зверей в лесу или снабжение дровами богоугодных заведений – все едино. Важна не тема, а свобода ее обсуждать.

– А как сделать первый шаг – вот вопрос! – воскликнул Пушкин.

– Я теперь сочиняю записку в правительство, с тем, чтобы обосновать необходимость изменения нынешнего положения. Нужно привести основательные доводы, чтобы полу-

читать согласие. Моя система такова: я разделил все население на три состояния. Высшее составляет аристократия, на мой вкус – уж простите, Александр Сергеевич! – она косна и малообразованна, и на нее можно воздействовать мнениями авторитетных для нее людей.

– Не вижу в уважении к авторитетам ничего плохого, – заметил Пушкин, – но с вашим взглядом на аристократию я совершенно не согласен. Вы покажите мне обязательно записку для замечаний!

Я поклонился и продолжил:

– Еще вам обиднее будет, что я низшее состояние вывел похожим на аристократов – оно рассуждает более, чем думает...

– Фаддей Венедиктович! Это несносно!

– Обещаю показать записку для критики, Александр Сергеевич, – согласился я. – Продолжаю: низшее состояние на высшее похоже тем, что и на него можно влиять с помощью авторитетов, точнее – авторитетных символов, например, Матушки России. Достаточно ввести этот образ в текст и ему поверят, я это на «Пчеле» проверял. Среднее состояние у меня включает дворян, мещан и купцов сразу, потому что объединяет их основной признак – образованность. Именно это состояние является важнейшим, с точки зрения формирования общественного мнения, считаю я. На этих людей надо действовать с помощью некоторой ограниченной гласности. Для правительства, чтоб не упоминать «сво-

боды» – это положение дел я предложил называть «гласностью».

– Интересное слово, – вставил Пушкин.

– Сам горжусь, – ухмыльнулся я. – Среднее состояние не склонно слепо доверять авторитетам и больше полагается на разум, чем на эмоции; оно в основном рассуждает, обдумывает и предлагает свою точку зрения другим. Поэтому завоевать доверие этого слоя особенно важно для управления общественным мнением. И добиться этого доверия можно, только разрешив критику власти, рассуждаю я в записке. Меры, принимаемые властью, должны подвергаться критике в печати, хотя бы в мелочах, хотя бы в незначительных деталях. Только услышав критику в адрес власти, причем критику умную, справедливую, хоть и умеренную, читатель из среднего слоя начнет доверять и правительственной пропаганде, похвалам, высказываемым прессой в адрес власти. Такая ограниченная гласность, кроме пропагандистского успеха, будет благодетельна еще и вот в каком отношении: чиновники не будут полностью бесконтрольны в своих действиях, общество получит влияние на принимаемые ими решения, хотя бы и в очень ограниченной сфере. А совершенное безмолвие порождает недоверчивость, неограниченная гласность производит своеволие, гласность же, вдохновленная самим правительством, примиряет обе стороны.

– Блестяще! – заплодировал Пушкин. – Вы – дьявол!

– Чем циничнее описать такой механизм руководства ума-

ми, тем больше он понравится властям! В записке я представляю общество как котел, в котором накапливается недовольство, а нашу тему – клапаном, который даст отвод этому накопившемуся пару. Тогда общество будет знать, что есть тема, свободная от цензуры и чувствовать иллюзию свободы... Нужно убедить всех: и правительство, и Бенкендорфа, и государя в необходимости такого клапана.

– Это и будет наша архимедова точка, которой мы все перевернем в России! – воскликнул Пушкин.

– Да, как только мы получим в свои руки управление таким клапаном – мы получим с ним ключ к свободе. Вслед за одной темой, свободной от цензуры, со временем последует другая, потом третья... Я обязательно покажу вам эту записку, прочтите внимательно, здесь нельзя промахнуться.

– Хороший план, – сказал Александр Сергеевич. – Только увидим ли мы воочию его результат?

– Не мы, так другие. А нас – добрым словом помянут.

2

28 июля я неожиданно нашел у себя в редакции записку и сообщение о том, что меня с раннего утра разыскивал Пушкин. Даже Греч, живущий в том же доме, в редакцию еще не поспел, был только Сомыч. Сначала Пушкин прислал записку, через полчаса явился сам и хотел видеть меня. По словам Сомова, Александр Сергеевич был отчего-то в растревоженных чувствах. «Уж не дуэль ли опять?», – обеспокоился Орест Михайлович. Я принял беззаботный вид, сказал, что, верно, поэты любят делать из мухи слона, а сам подумал, что может быть, дуэль не самое худшее, в конце концов, Пушкин до сих пор из подобных историй выкручивался.

Я уединился и распечатал записку. Предчувствие меня не обмануло.

«Любезный Фаддей Венедиктович!

Я попал в затруднительное положение и нуждаюсь в хорошем совете. Сегодня я вызван на допрос к генерал-губернатору Голенщцеву-Кутузову, причем по уголовному делу, требующему установления авторства «Гавриилиады». Ясно, что от меня ждут признания, но последствия могут быть ужасными. Надеюсь на вашу поддержку.

Свидетельствую вам искреннее почтение,

Пушкин.

P.S. Не имея сил ждать дольше, я отправился к вам лич-

но, но опасаясь, что за мной могут наблюдать, я не решился ехать к вам домой (пуганая ворона куста боится, а я ворона пуганная, и неоднократно). А визит литератора в редакцию всегда можно оправдать.

P.S.S. Не застав вас в редакции, еду встреч Кутузову – что вам Наполеон. Надеюсь, хотя б на Бородино.

А.П.

Противу Пушкина ранее уже велось дело, касавшееся отрывка из элегии «Андрей Шенье», озаглавленного кем-то «На 14 декабря». Это перевод с французского пьесы, связанной с революционными событиями и повествующий о казни поэта. Там у Пушкина было оправдание в том, что перевод был сделан им до семеновской истории, и потому он не мог иметь в виду события, которые еще не произошли. И новый заголовок приписан был рукой какого-то студента. Расследование показало непричастность Пушкина к бунту, иначе бы царь не простил его. Тем не менее, дело было заведено. А история с «Гавриилиадой» значительно хуже. «Гавриилиада» – произведение богохульное, вольтеровское, сродни «Орлеанской девственнице». За насмешки над религией и атеизм могут в Соловки сослать или подале.

Первый допрос – дело важнейшее, тут надо сразу давать те показания, которых потом полагаешь держаться. Это я знаю и на собственном опыте, и на следствии относительно Грибоедова. Он во все время давал одни показания, и, когда не нашли противного в других показаниях, это послужило при-

знанием его честности. Лучше бы уж Пушкин рискнул и приехал ко мне, ведь совет, опоздавший к сроку – одно сожаление.

Я едва дотерпел до полудня, сказал, что еду завтракать и отправился к Демуту. Александр Сергеевич был уже дома.

– Ах, Фаддей Венедиктович! – воскликнул поэт, принимая меня в объятия, – каково это – отвечать за глупости юнца, какого уж нет давно.

Пушкин находился в лихорадочном возбуждении, вызванном допросом.

– От души сочувствую и надеюсь, что дело еще можно поправить, – ответил я. – Что, как было?

– Строго, официально, вежливо. Сам генерал-губернатор Голенищев-Кутузов задавал некоторые вопросы. Впрочем, все сделанные мне вопросы касались одного – авторства «Гавриилиады».

– Надеюсь, вы не сознались?

– Иначе бы тут не стоял. Верно, они готовы были меня и арестовать.

– Не преувеличиваете, Александр Сергеевич?

– Как знать, Фаддей Венедиктович, но я сильно опасаюсь новой ссылки... Успокойте – зря? – Пушкин раз за разом пересекал короткое пространство комнаты, словно ему было тесно.

– Нет, нимало, – тревога моя за Пушкина усилилась. Он осознавал опасность, но явно не знал, как ее отвести. – Дело

наисерьезнейшее, Александр Сергеевич – тут я вас не утешу. Расскажите по порядку – откуда все произошло? Поэма эта написана довольно давно, по крайней мере, я с ней знаком более пяти лет, отчего же дело возникло сейчас?

– В июне месяце дворовые люди отставного штабс-капитана Митькова подали жалобу, что сей Митьков развращает их в понятиях православной веры, читая им сочинение «Гавриилиаду». Они и список поэмы представили митрополиту Серафиму. От митрополита дело перешло к генерал-губернатору, который замещает царя, отбывшего на войну с турками. Вот все, что мне известно.

– Голенищев-Кутузов наверное доложил царю, и следствие идет с высочайшего соизволения.

– Вероятно так.

– В чем вас обвиняли?

– Допытывались, знаком ли с поэмой и ее автором. Я сказал, что знаком еще с лицейских времен. Рукопись ходила между офицерами гусарского полка, стоявшего в Царском Селе, но от кого из них именно я достал оную, я никак не упомяну. Мой же список я, вероятно, потерял или сжег.

– Очень плохо. Знаком ли вам этот штабс-капитан Митьков?

– Нет, не знаком, по счастью... А что, по-вашему, плохо?

– Потерял или сжег – плохой ответ, неуверенный, – сказал я. – Слово вы сами не знаете, какой линии держаться.

– Верно, не знаю. Я вдруг оказался перед лицом угрозы.

Несчастье это свалилось неожиданно, ведь я давно от той поэмы отрекся, ее словно бы писал другой человек.

– Да, юношеская шалость бывает слишком дерзновенной и опасной... ну-ну, не унывайте, Александр Сергеевич! – сказал я, видя, как бледен поэт. – Кто в юности не ошибался, тому и в старости вспомнить нечего будет. Всяк грешил и путался – а иначе как бы и не жил. Беда, что талант ваш ваши шалости так превознес над прочими. Не подумайте, что в укор говорю – сам, и в немладые годы, отринув прошлое, жизнь сызнава начинал... Думаю, что признаваться вам ни в коем случае нельзя, это дело грозит не Михайловским, а Соловками. Но если бы у следствия были прямые доказательства – вам бы их предъявили – свидетелей или список, сделанный вашей рукой. Царь поручил генерал-губернатору дело – и тот хочет как можно скорее отрапортовать о выполнении задания. Потому на вас так наседают и долго не отстанут... Но вот что я подумал, Александр Сергеевич! Раз они хотят, чтоб вы назвали автора – так назовите.

– То есть как? – опешил Пушкин.

– Необходимо выбрать кандидата.

– Обрушить свои несчастья на чужую голову? Спаситесь ценой чужой жизни, чужой души? – вспыхнул поэт.

– Ничего страшного, при условии, если это будет душа – мертвая.

Пушкин задумался...

– Кого вы предлагаете? Баркова?

– Пожалуй, но стилистически... Не слишком вы похожи...

– Да слава Богу! – воскликнул Пушкин.

– Конечно, но в данном случае это не на пользу. Барков давно помер. Понятно, что вы могли бы имитировать его, но наша задача от вас подозрение и отвести. Любой эксперт, если, эта счастливая случайность выпадет, например, не мне, отметит разницу.

– У вас есть свой кандидат?

– Предлагаю князя Дмитрия Горчакова.

– Пожалуй, – сказал Пушкин после некоторого раздумья. – Надеюсь, Дмитрий Петрович на меня там, – он возвел глаза к небу, – не обидится за этот обман. Человек он был талантливый, обладал колким стихом и чистым слогом. Кстати, его «Вирсавия» похожа на «Гавриилиаду», вы не находите?

– Иначе бы я его вам не предложил.

– Вы думаете, такое заявление отведет угрозу?

– Не могу сказать наверное. Но другого средства не вижу, – ответил я. – Хорошо было бы ваши показания относительно Горчакова подтвердить со стороны. Если мне удастся, то я постараюсь сделать свое свидетельство. Пока наша дружба не видна всем, мое мнение могут счесть беспристрастным.

– И вы готовы засвидетельствовать неправду?

– Конечно. Но, уверяю вас, Александр Сергеевич, что лжесвидетельство я готов совершить не из слепого чувства

дружбы, а потому, что вижу ваше искреннее раскаяние. Вы теперь не тот, что были, когда писали злосчастную поэму. Теперь запоздалое наказание настигнет совсем другого человека и обращено будет не по адресу. Так что мое свидетельство будет лживо только формально.

– Спасибо, Фаддей Венедиктович, за совет, теперь я буду чувствовать себя увереннее. Не зря я обратился именно к вам.

– Я вашей тайны никому не открою, – сказал я на прощанье.

Пушкин цепко посмотрел мне в глаза, крепко пожал руку, и мы расстались. Авось грозу пронесет. Александр Сергеевич был по-прежнему бледен, но держался увереннее.

Случай помочь Пушкину мне представился скоро. Верно, что высшее начальство все было не только в курсе этого дела, но очень им озабочено. Через несколько дней я докладывал Бенкендорфу относительно «Северной Пчелы». Александр Христофорович был благодушно настроен и говорил одни комплименты – мне и газете. И в итоге разговора, когда я почувствовал себя уж совсем вальяжно, он вдруг перевел тему.

– Фаддей Венедиктович, позвольте побеспокоить вас посторонним вопросом. Как вы полагаете, есть среди наших литераторов люди неверующие? Надсмехающиеся над религией?

– Открыто неверующих нет, иначе все бы их знали и отдали общественному порицанию.

– А скрытые?

– Не могу сказать наверное, Александр Христофорович. Если бы кто-то посмел обратиться ко мне с такими словами, я бы не стал ждать вопроса вашего высокопревосходительства, а сразу бы таким человеком распорядился.

– Значит, вы, Булгарин, таких людей указать не можете? А что же Пушкин?

– Пушкин ведет рассеянный образ жизни, но это нимало не говорит о том...

– Вот прочтите его слова, – Бенкендорф подал мне лист с

текстом, похожий на выписку откуда-то, так как написанное размещалось лишь в самой середине страницы.

Я прочел: «Осмеливаюсь прибавить, что ни в одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над религиею. Тем прискорбнее для меня мнение, приписывающее мне произведение жалкое и постыдное».

– Можно ли верить Александру Сергеевичу?

Я на секунду задумался. Поскольку Бенкендорф подозревал прежде нас с Пушкиным в дружбе, будет неосторожно с моей стороны безоговорочно встать на его защиту – это подозрительно.

– Я уверен, что Пушкин нисколько не ставит под сомнения основы религии, но не могу гарантировать, чтобы он не писал в юношестве каких-то фривольных строк. Но эта оговорка нисколько не умоляет моего мнения – Пушкин не тот человек, чтобы покушаться на религию.

– О каком произведении идет речь – вы поняли?

– Никак нет, Александр Христофорович, – и представить не могу.

– «Гавриилиада» разве не Пушкиным писана в те самые юношеские годы? Вы верно, знакомы с этим его сочинением? – Бенкендорф внимательно наблюдал за мной, я чувствовал это и старался себя не выдать. Пойманный на вранье про Пушкина, я бы повредил не только ему, но и себе.

– Поэму сию я читал, у кого – не спрашивайте. Но автор-

ство Пушкина мне представляется сомнительным. Для ранней молодости это слишком серьезный замысел. Мне кажется, это исполнено более зрелым и циничным умом. В молодости принято быть вольнодумцем, но не циником. Скорее, эти вещи несовместимые.

– У вас есть этот список?

– Боже упаси, Александр Христофорович! – воскликнул я.

– Вы, однако, так уверенно говорите о предмете, словно недавно читали его, – заметил генерал.

Я решил утроить осторожность.

– У меня отличная память, ваше высокопревосходительство. А это произведение настолько необычное, что выбросить его из памяти я не могу – хотя бы и желал.

– Кто же автор – по-вашему?

– Не могу знать, Александр Христофорович. А если начать гадать, то можно кого-то зря обидеть. А дело серьезное.

– У нас все дела серьезные. Вы уходите от ответа, Фаддей Венедиктович. Помогите мне, ведь вы тут специалист.

– Я могу лишь сказать, что это барковская линия, и искать следует среди его последователей. А цинизм укорененного атеизма – результат зрелого ума, погрязшего в низких пороках.

– Князь Горчаков, быть может?

– Даже на покойного не стану возводить подозрение, хотя он, несомненно, относится к такому направлению и очень

вероятно, что он и является тем автором, о котором спрашивает ваше высокопревосходительство.

– Спасибо, господин Булгарин, вы мне весьма помогли.

– Рад служить, Александр Христофорович!

После в уме проверяя разговор, я остался доволен – Пушкин получил серьезное свидетельство в свою пользу. При этом я не показал дружеского к нему расположения, которое могло бы поставить под сомнение все сказанное.

Глупость Пушкина может дорого ему обойтись, но, даст Бог, совместными усилиями мы выкрутимся. Я рад, что имею возможность помочь Александру Сергеевичу. Истоки моей радости еще и в том, что я таким образом могу вернуть ему долг. Он хранит тайну архива Рылеева, а я сохраню тайну авторства «Гавриилиады».

Кто из нас не ошибается! Это случается со всяким. И себе мы прощаем ошибки. Но не всякий имеет такую широту души, чтобы простить ошибку другого. Пушкин понял мое умопомрачительное увлечение Собаньской и извинил его. Я понял его отпирательство по делу о «Гавриилиаде» – мне также приходилось врать, чтобы спастись. Ложь не самый большой грех, если она никому не вредит, и я с легкостью извинил Пушкину его желание избежать ссылки или даже каторги. И я похороню в себе эту тайну, как он, я уверен, никому не скажет о том, как я сохранил архив Кондратия.

От этого есть и плюс: наша дружба обретает новое основание, и мы теперь можем быть душевно ближе и доверитель-

ней друг к другу. Такая дружба проверена испытаниями, а значит, крепче вдвойне против обычной.

4

Если предыдущее свидание с Пушкиным оставило, несмотря на тяжесть положения, светлое чувство усилившейся привязанности, то следующее меня полностью разочаровало, и чуть было не привело к нашему разрыву.

Пушкин неожиданно явился ко мне в редакцию – сосредоточен, хмур и румян от сжигавшего его волнения.

– Фаддей Венедиктович, я решился признаться в авторстве «Гавриилиады».

– Зачем? – только и вымолвил я.

– В худшем из вариантов у нас, возможно, не будет случая объясниться, а я бы не хотел остаться неправильно вами понятым.

– Но Александр Сергеевич, ради Бога, вспомните, какими карами вам это грозит!

– Именно поэтому я и пришел сначала к вам, я же с этого начал. Постарайтесь меня понять, Фаддей Венедиктович. Вы дали мне по-житейски правильный совет. Спирать все на Горчакова можно было бы долго. Но вопрос этот все возникал бы и возникал: кто знает, сколько списков злосчастной поэмы бродит по свету, на скольких обозначен автор?! Они будут тянуться за мной шлейфом всю жизнь. Горчаков мертв – он не оправдывается, но и вины не признает – дело будет неоконченным. Жить под этим дамокловым мечом

мне будет тяжело... Нет, нет, – остановил меня жестом Пушкин, – выслушайте сначала. Эта тяжесть переносима, но гораздо сильнее меня гнетет другое – чувство вины. За свои грехи нужно отвечать. Если я не предамся суду людскому, то взыщется судом Божиим, а это во сто крат страшнее. Но, положившись сейчас на милость Провидения, я получу избавление от вины. Тогда и от лжесвидетельства по этому делу я буду избавлен. Чистая совесть мне дороже благополучия.

– Александр Сергеевич, – начал я, найдя еще один аргумент против этого странного покаяния, – Александр Сергеевич, я не хотел вам говорить, вам бы лучше не знать этого, но так случилось, что я тоже ввязался в дело. Был случай, и я, воспользовавшись, поддержал версию с авторством Горчакова перед высшим начальством. Таким образом, ваше признание изобличит меня в лукавстве или глупости – это уж как сочтет Бенкендорф. И то, и другое мне не лестно и даже опасно. Если вы не готовы подчиниться голосу рассудка ради себя, то ради нашей дружбы откажитесь от своего плана. Я вас прошу, не делайте одну большую глупость, которая может разрушить вашу жизнь, не предавайте себя в неверные руки людей, которые не испытывают к вам даже простой симпатии.

– Не беспокойтесь, Фаддей Венедиктович, я предам себя не Бенкендорфу и Голенищеву-Кутузову, а высшему суду – суду Помазанника Божия. Заранее прошу у вас прощения, но моя вина перед ним выше, чем вина, которая будет перед

вами. Я высоко ценю вашу дружбу, но этого испытания ей не избежать. Прошу простить. Но ведь и вы сами можете последовать моему примеру и покаяться перед государем в своем дружеском ко мне участии. Николай Павлович, я уверен, простит лжесвидетельство, к которому подтолкнули благородные чувства.

– Да ведь царь и есть один из людей, настроенных к вам враждебно, при этом он наделен относительно вас абсолютной властью! – воскликнул я в сердцах. Меня поразило, насколько Пушкин не понимает очевидных вещей. – Вы сами жаловались, что государь, назвавшись вашим цензором, подверг вас двойной цензуре и нисколько не облегчил вашего положения.

– Вы ошибаетесь, Фаддей Венедиктович. Его величество относится ко мне неровно, но всегда дружелюбно. Генерал-губернатор прочел мне записку государя, где сказано, что лично меня зная, государь моему слову верит, но желает, чтобы я помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть меня, приписывая мне авторство. И как после этого я могу государю, который верит мне, врать?

– Да ведь это он казнил зачинщиков семеновской истории, чего не было со времен Пугачева, он создал Третье отделение, возвысил Бенкендорфа. И вы верите, что он простит вам кощунственную насмешку над религией?! Он наказывает за малейшую провинность! Вот, гляньте, – я увлек Пушкина в

угол своего кабинета, где висел портрет государя императора. – Думаете, это выражение верноподданнических чувств? Нет-с! Это памятка. Вот тут приписана дата – это дата моего ареста. Я, боевой офицер, по приказу Николая отсидел на гауптвахте за рецензию на роман Загоскина «Юрий Милославский». Более того, царь хотел за это «Пчелу» вовсе прихлопнуть! И это я всегда помнить буду – вот почему тут проставлена дата моего ареста!

– Это ребячество! – воскликнул вдруг Пушкин. – Посадил вас царь охолонуться – что за оказия! Вам ли на превратности ветерка жаловаться, когда вы пережили столько бурь и нашли свое пристанище именно здесь, в России, под крылом государя? И вы судите о нем по одному такому поступку? И вы судите о нем, ни разу не встретившись? Я разговаривал с государем, и могу донести до вас свидетельство очевидца его великодушия и благородства ума. Я знаю его лучше, чем другие, у меня к тому был случай – в 1826 году, когда государь вернул меня из ссылки, у нас была продолжительная встреча в Чудовом монастыре. Послушайте...

Император Николай не купил меня ни золотом, ни лестными обещаниями, не ослепил блеском царского ореола. Он не мог угрозами заставить меня отречься от моих убеждений, я кроме совести и Бога не боюсь никого. И я должен признать, что Николаю Павловичу я обязан обращением моих мыслей на путь более правильный и разумный, которого я искал бы еще долго и, может быть, тщетно.

Помню, что когда мне объявили приказание государя явиться к нему, душа моя вдруг омрачилась – не тревогою, нет! Но чем-то похожим на ненависть и отвращение. На мои губы набегала усмешка, я чувствовал себя то республиканцем Катонем, а то и вовсе Брутом. Но все эти мысли и чувства разлетелись, как мыльные пузыри, когда Николай явился и заговорил со мной. Вместо надменного деспота я увидел человека со спокойным благородного лицом. Вместо обиды и угроз я услышал лишь снисходительный упрек.

– Как может так быть, – сказал император, – что ты – враг твоего государя, ты, которого Россия вырастила и покрыла славой, Пушкин, Пушкин, это нехорошо! Так быть не должно.

Я онемел от удивления и волнения, слово замерло на губах.

– Виноват и жду наказания, – наконец сказал я.

– Я не люблю спешить с наказанием, – ответил император, – и, если могу избежать этой крайности, но я требую полного сердечного подчинения моей воле. Ты не возразил на упрек во вражде к твоему государю, скажи же, почему ты враг ему?

– Просите, ваше величество, что, не ответив, я дал повод неверно обо мне думать. Я никогда не был врагом моего государя, но был врагом абсолютной монархии.

Царь усмехнулся на это признание и воскликнул, хлопая меня по плечу:

– Мечтания итальянского карбонарства и немецких ту-гендбундов! Республиканские химеры всех гимназистов, лицеистов, недоваренных мыслителей из университетской аудитории. С виду они величавы и красивы, в существе своем жалки и вредны! Республика есть утопия, потому что она есть состояние переходное, ненормальное, в конечном счете, всегда ведущая к диктатуре, а через нее к абсолютной монархии. Не было в истории такой республики, которая в трудную минуту обошлась бы без самоуправства одного человека и которая избежала бы разгрома и гибели, когда в ней не оказалось дельного руководителя. Силы страны в сосредоточенной власти, ибо, где все правят – никто не правит. Где всякий законодатель – там нет ни твердого закона, ни единства политических целей, ни внутреннего лада.

– Ваше величество, – отвечал я, – кроме республиканской формы правления, которой препятствует огромность России, существует еще одна политическая форма – конституционная монархия.

– Она годится для государств, окончательно установившихся, – ответил Николай Павлович с глубоким убеждением, – а не для тех, кто находится на пути развития и роста. Россия еще не вышла из периода борьбы за существование, она еще не вполне установившаяся, монолитная страна, элементы, из которых она состоит, друг с другом не согласованы. Их сближает и спаивает только самодержавие, неограниченная, всемогущая воля монарха. Без этой воли не было бы

ни развития, и малейшее сотрясение разрушило бы все строение государства. Неужели ты думаешь, что, будучи конституционным монархом, я мог бы сокрушить главу революционной гидры? Удержать в повиновении остатки гвардии и обуздать уличную чернь, всегда готовую к бесчинству, грабежу и насилию? Она не посмела подняться против меня! Потому что самодержавный царь для нее – наместник Бога на земле.

Когда он говорил это, он в эту минуту не гневался, но испытывал свою силу, измерял силу сопротивления, мысленно с ним боролся и побеждал. Затем выражение его лица смягчилось, он прошелся по кабинету, снова остановился передо мною и сказал:

– Ты еще не все высказал, может быть, у тебя на сердце лежит что-нибудь такое, что его тревожит и мучит? Признайся смело, я хочу тебя выслушать.

– Ваше величество, вы сокрушили одну гидру, но есть другая, с которой вы должны бороться, которую должны уничтожить, потому что иначе она вас уничтожит!.. Это чудовище – самоуправство административных властей, развращенность чиновничества и подкупность судов. Россия стоит в тисках этой гидры, поборов, насилия и грабежа, которая до сих пор издевается даже над высшей властью. У нас справедливость в руках самоуправств! Над честью и спокойствием семейств издеваются негодяи, никто не уверен ни в своем достатке, ни в свободе, ни в жизни. Судьба каждого

висит на волоске, ибо судьбою каждого управляет не закон, а фантазия любого чиновника, любого доносчика. Что ж удивительного, если нашлись люди, чтоб свергнуть такое положение вещей? Что ж удивительного, если они, возмущенные зрелищем униженного и страдающего Отечества, разожгли огонь мятежа, чтоб уничтожить то, что есть, и построить то, что должно быть: вместо притеснения – свободу, вместо насилия – безопасность, вместо продажности – нравственность, вместо произвола – покровительство законов, стоящих надо всеми и равных для всех! Вы, ваше величество, можете осудить незаконность средств к ее осуществлению, но не можете не признать в ней благородного порыва. Вы имели право покарать виновных, в патриотическом безумии решивших повалить трон Романовых, но я уверен, что, даже карая их, в глубине души, вы не отказали им ни в сочувствии, ни в уважении. Я уверен, что если государь карал, то человек прощал!

– Смелы твои слова, – сказал император без гнева, – значит, ты оправдываешь заговорщиков против государства? Покушение на жизнь монарха?

– Нет, ваше величество, я оправдываю только цель замысла, а не средства. Ваше величество умеете проникать в души, соблаговолите проникнуть в мою, и вы убедитесь, что все в ней чисто и ясно.

– Я тебе верю, – сказал государь более мягко. – У тебя нет недостатка ни в благородных побуждениях, ни в чувствах,

но тебе недостает рассудительности и опытности. Видя зло, ты возмущаешься, содрогаешься и легкомысленно обвиняешь власть за то, что она сразу не уничтожила это зло и на его развалинах не поспешила воздвигнуть здание всеобщего блага. Знай, что критика легка, и что искусство трудно. Для глубокой реформы, которую Россия требует, мало одной воли монарха, как бы он ни был тверд и силен. Мне нужно содействие людей и времени. Нужно соединение всех высших духовных сил государства в одной великой передовой идее. Пусть все благонамеренные, способные люди объединятся вокруг меня, пусть в меня уверуют, пусть самоотверженно и мирно идут туда, куда я поведу их, и гидра будет побеждена! Гангрена, разъедающая Россию, исчезнет! Что же до тебя, Пушкин, ты свободен. Я забыл прошлое. Я вижу перед собой не государственного преступника, а человека с сердцем и талантом. Где бы ты ни поселился, – ибо выбор зависит от тебя, – помни, что я сказал и как с тобой поступил, служи Родине мыслью, словом и пером. Пиши со всей полнотой вдохновения и совершенной свободой, ибо цензором твоим – буду я...

Войдя к царю почти революционером, я после разговора с ним сильно переменял свое мнение о российской монархии... Вот вы, Фаддей Венедиктович, помянули цензурный гнет, но разве последний – самый либеральный – цензурный устав принят не нынешним царем?

– В таком случае, мы потрудились с ним равно, ведь я

занимался его составлением, – ответил я и на минуту задумался. Рассказ Пушкина меня ошеломил. После некоторого молчания я сказал поэту:

– Я поражен: вы, кого считали другом бунтовщиков, оказывается, являетесь ярым монархистом, а я, которого клятнут приспешником правительства, чувствую себя со своим образом мыслей почти заговорщиком.

– Если вы наш тайный союз воспринимали про себя как заговор, то нам следует отказаться от всех планов и забыть о них, – заметил Александр Сергеевич. – Чтобы окончательно все прояснить между нами, я скажу вам то, что неоднократно высказывал в обществе в 1826 году и сейчас открыто могу повторить: меня можно называть Александром Николаевичем, ибо именно государю я обязан своею свободой.

– Понимаю ваше опьянение свободой сразу после возвращения из ссылки, но теперь ваша жизнь не кажется вам такой радужной? Ваши жалобы...

– Это минутное настроение, – перебил меня Пушкин. – Натуры вдохновенные любят все преувеличивать, тут есть родство с театром. Но в своем мнении относительно царя и справедливости устройства Российского государства я остаюсь тверд. Кому, как не отпрыску древнего боярского рода быть опорой трону? Также, как и в желании покаяться перед его величеством... – видя, что я молчу, Пушкин добавил, – что вы мне скажите на прощанье?

– Скажу, что дружбу нашу заговором не считал и не счи-

таю. Признание ваше таит великую опасность, так что пусть ваша слепая вера в царя обретет здесь основание. А коли так не случится, я буду первый, кто навестит вас в крепости.

Пушкин протянул мне на прощание руку, из чего я сделал вывод, что в глубине души он согласен со мной: покарать его могут жестоко. Я сердечно пожал ее, несмотря на большое разочарование: возможно, что мы виделись в последний раз.

Царя в столице не было, значит, Александр Сергеевич мог обратиться к нему только письменно. Когда придет ответ, и над его головой разразится буря, было неизвестно. Прошло несколько недель, Пушкин оставался на свободе, но со мной не виделся. Я также не писал ему и не посещал – я не знал, как подступиться к разговору в такой неопределенной ситуации. Все планы наши были приостановлены, их возобновление сейчас не имело смысла.

Для себя я не ждал ничего плохого. Только порадовался в другой раз, что опытность и осторожность опять уберегли меня от бед: если бы я напрямик заявил о младенческой невинности Пушкина и грехе Горчакова, то теперь вызвал бы тем подозрения. Признание Александра Сергеевича подорвало бы репутацию, которую я составлял многие годы. Бенкендорф мог лишить меня покровительства, а через время «Пчела» пала бы под ударами врагов. Или ее возглавил бы другой издатель. Пушкину, который с царями на дружеской ноге (если можно так пошутить), задумываться над такими мелкими расчетами недосуг, поэтому мне пришлось думать за нас обоих. Вот таких сложностей я и опасался, обрывая наши отношения прошедшей зимой. И если отношения сохранятся впредь, то новых сложностей не избежать. Это не пугает меня. Я старый солдат и не раз смотрел в глаза смер-

ти. Литературные ристалища, газетные склоки – ужель они страшнее?

Опаснее другое: все эти бои помешают главному предназначению, которое я себе определил. Но ведь от союза с талантом Пушкина это предназначение выигрывало стократ. Потому я все-таки и ввязался в эту дружбу, что кроме душевной приязни она открывала новые горизонты для действий. Но вот что получилось: мы дружимся год, а ничего полезного вместе не сделали. Вроде уже были готовы начать – теперь случилась оказия с «Гавриилиадой». Мистик на моем месте узрел бы тут систему. Опытный же человек знает: сколь часто он полагает, а Бог столько же располагает. Впрочем, иногда отсутствие всяких новостей – уже хорошая новость. Как теперь с Пушкиным. Чем больше проходит времени без новостей, тем крепче уверенность, что Александр Сергеевич избегнет кары. Ведь жестокие меры у нас принимаются скоро, а с добром всегда медлят.

Два месяца прошли в ожидании неизбежной расправы – это уже само по себе является наказанием для преступника. Не знаю, как себя чувствовал Пушкин, а даже мне было препогано. От этого не сдержался и, не дожидаясь высшего решения, сделал посвящение Пушкину на своей повести «Эстерка». Заходя в типографию, где печаталась книжка, я всякий раз взглядывал на эту надпись. Правильно было бы поменять фронтиспис, и для этого вначале было время, но я бездействовал – гордость не позволяла уступить осторожно-

сти. Затем стало поздно, и я вздохнул с облегчением. Книжку, наконец, напечатали. Я порадовался, что при любом исходе дел я успею вручить ее Александру Сергеевичу.

Хоть мне и неприятно было сделать открытие, что друг революционеров оказался монархистом, а я неверно судил о нем, все-таки у нас было много общего. Так бывает, что даже давно знакомый человек открывается с новой стороны, и ты не веришь – он ли это – твой прежний товарищ, она ли это – женщина, к которой ты испытываешь самые нежные чувства? Прежние они – а ты был слеп, или это жизнь так их изменила? Потом вдруг пронзает мысль: а не сам ли ты изменился так, что не узнаешь близких тебе людей? Все это горестные и бесплодные размышления, которые следует гнать от себя. А делать необходимо то, что наметил. Не сворачивай с пути и в конце его ты пожнешь достойный урожай. В этом и есть только ценность и самоуважение каждого, кто жил не вслепую.

Пушкин за время нашего очного знакомства – всего год да с перерывами – стал мне необходим, это я понял, потому что соскучился по нему за эти два месяца. С ним связывает и близкое дружество, и грандиозные надежды на будущее. От тоски я уже хотел напроситься на визит, как вдруг мне в редакцию доставили от него записку: «Дорогой Фаддей Венедиктович, приезжайте, есть хорошие новости! А.П.»

Я застал в номере Пушкина сущий бедлам. Сам хозяин носился по комнате, выбрасывал из шкафов и сундуков ве-

щи, скалился и имел вид, оправдывающий мнение злопыхателей, сравнивавших его с обезьяной. Следом, не поспевая за ним прибираться, ходил его дядька.

– Здравствуйте, дорогой Фаддей Венедиктович! – прокричал мне Александр Сергеевич, пробегая мимо. Сила набранной инерции не позволяла сделать резкую остановку. – Вот, посмотрите! – на следующем развороте он подал мне листок с царским вензелем. – Я прощен!

Я быстро прочел письмо, где от имени Его Императорского Величества сообщалось, что дело о «Гавриилиаде» прекращено, обвинения с Пушкина сняты навсегда.

– Я прощен и теперь совершенно свободен! – с глубоким чувством сказал Пушкин, остановившись передо мной. Лицо его сияло одухотворенно. Было ясно, что с его души упал камень, и теперь Александр Сергеевич чувствует небывалый прилив сил, словно после возвращения из ссылки. Верно, последние два месяца ему не даром достались. Ну да теперь все будет по-новому.

– Рад за вас, Александр Сергеевич, сердечно рад, – искренне сказал я.

– А вы не верили!

– И правильно, что не верил, – сказал я. – Мне кажется, что спасло вас только Божье Проведение, которому вы зачем-то нужны в Санкт-Петербурге.

– А вот и нет! Меня спасла царская милость, а Божье Проведение знало бы наперед, что я собираюсь из столицы

уехать!

– Пойдите, но зачем? Бойтесь, что царь передумает?

– Нет, совершенно не боюсь. Я просто хочу ехать! Не могу больше сидеть! Я последние месяцы провел словно под домашним арестом, все – больше не могу. Еду! Хочу снова в кибитке пожирать дорогу, глядеть по сторонам, двигаться, скакать, трястись на ухабах! Хотите анекдот, Фаддей Венедиктович? Должности-то у меня нет, и я недавно еще пользовался подорожной, выписанной на лицейского ученика Пушкина. Каково?! Оцените!

– Понимаю, что вам было нелегко в последние месяцы, но стоит ли сейчас уезжать? Вы твердо решили?

– Так ведь осень! Осень, Фаддей Венедиктович. Не было еще случая, чтоб я осенью без нужды в городе сидел... Верно, вы сразу про наши планы вспомнили? Так они остаются в силе – если вы не против. Я все помню – и относительно моего «Мазепы», переименованного в «Полтаву», и вашего «Выжигина». Хоть у нас и обнаружилась разница взглядов, думаю, что она не повредит?

– Надеюсь, что нет.

Честно говоря, Пушкин в который раз привел меня в смущение. С одной стороны, он показывает мне свое дружество, говорит об общих планах, но при этом он не интересуется моим мнением – он уже все решил. Эгоизм поэта сквозит во всем. Ну да он таким родился.

– Надолго едете?

– Несколько месяцев – иначе при наших дорогах и затеваться не стоит. Сейчас махну в Малинники, а затем в Москву.

– Тогда позвольте мне дать вам чтение в дорогу. На дальний путь не хватит, но до Малинников свезет без скуки, – я протянул Пушкину «Эстерку».

– Спасибо, – Александр Сергеевич схватил книжку и поднес к носу. – Люблю запах свежей типографской краски! – Длинными цепкими пальцами он открыл томик и быстро просмотрев, остановился на фронтиспise. Затем глянул испытующе. – И вы не сняли посвящение, даже когда узнали, что судьба моя висит на волосе? Спасибо.

– Я его, напротив, вписал.

– Это жест настоящего друга и отважного человека. Представляю: меня увозят в крепость, а у вас книжка выходит с посвящением государственному преступнику. Смело! Отчаянный вы народ, поляки! – Пушкин обнял меня, мне показалось, изо всех сил.

Я почувствовал себя стиснутым – его руки, оказывается, имеют хватку бондарного обруча. Какая жизненная сила в этом небольшом человеке! Даже немного страшно – сколько в нем всего таится до поры. Словно в одной телесной оболочке уживаются несколько людей. Все время делаешь открытия.

– Еще раз – спасибо, это подарок бесценный, – Пушкин протянул книгу Никите. – Положи в мой дорожный сакво-

яж. – Знаете, я намерен посвятить вам «Полтаву», Фаддей Венедиктович!

– Благодарю вас, Александр Сергеевич, я польщен, но не стоит.

– Почему же?

– Вы не только добьетесь лишнего порицания от некоторых ваших друзей, но и рассекретите раньше времени наши взаимоотношения, – говорил я спокойно и глядя прямо в глаза Пушкина.

– Вы решительно против, Фаддей Венедиктович?

– Решительно.

– Хорошо, отложим тогда. Но за мной должок! – улыбнулся Пушкин. – Вы знаете, я уезжаю с легким сердцем еще и потому, что несмотря ни на что мы с вами вместе. Я все-таки предвижу у этого союза большое будущее. Ваша газета, мое слово – мы многое сумеем сдвинуть, если верно сложим силы. Вы должны завершить «Выжигина», я – «Полтаву». Там сойдемся и решим, что делать дальше. Согласны?

– Что делать, Александр Сергеевич, – с вами не совладать, – сказал я со вздохом. – Приходится отпускать. Поезжайте, творите, развлекайтесь. Возвращайтесь отдохнувшим. Планы наши от нас не уйдут, лишь бы мы сами от них не отказались. Скатертью дорога.

Мы обнялись.

– Кстати, пишите вы мемуары?

– Нет.

– Отчего же, Фаддей Венедиктович? С вашим острым глазом это бы были замечательные записки. У нас есть Денис Давыдов, воспевавший воинскую доблесть в стихах. Но кого этим удивишь со времен Гомера? Война – это проза. Если я попаду когда-нибудь на войну, то не стану сочинять вирши, а в скупых словах постараюсь точно передать все события, которым стану очевидцем. В минуты боя мало кто способен заметить и запомнить детали. У вас же глаз и память для этого прямо предназначены – вы ухватываете и помните все как мышеловка. Я помню ваш рассказ о переправе через Березину – вот так и надобно писать! Запишите все, что помните – о финской компании, о Наполеоне, о походе маршала Ундино на Петербург, в котором, я слышал, вы участвовали, о Рылееве, наконец... Можете даже не публиковать до времени, но напишите. Я полагаю в этом первейший долг литератора. Так мы сохраним для потомков историю нашей страны. И по этим запискам они будут судить о нас с вами. Вы предстанете таким воякой, покорившим своей уланской саблей всю Европу, который после стал первым журналистом России.

Я смущенно приложил руку к сердцу.

– Вы верно так думаете?

– Еще раз спасибо за посвящение, – сказал Пушкин. – Я искренне тронут вашим бесстрашием. И в будущем, когда дружба наша откроется, я всегда смогу доказать вашим недоброжелателям как вы отважны и преданы в дружбе... Я скоро еду, и хочу остаток времени посвятить сборам. А то

еще кто-нибудь с визитом явится... Прощайте!

– До свидания, Александр Сергеевич.

Один Бог знает, как Пушкин спасся. Хитрость ли это со стороны царя или неоправданная милость? Неужели Пушкин лучше понял Николая, чем я? Неужели история, которую я принимал за анекдот – правдиво говорит о Его Величестве? После того, как Николай Павлович назначил Бенкендорфа руководить вновь созданным Третьим отделением Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, Александр Христофорович обратился к царю за инструкциями. Тот молча подал генералу платок. «В чем смысл вашего подарка, Ваше Величество? – спросил Бенкендорф. – Что я должен делать?». «Чем больше утрешь слез своим платком, тем лучше будешь служить». Но можно ли верить таким сказкам о добрых царях?

Пушкин поверил и не ошибся. А я изо всех сил благоразумия отговаривал его. Он покаялся и получил отпущение. Его сердце теперь чисто. А я помню, как я защищал его перед Бенкендорфом, но так, чтобы не пострадать самому. Помню, как ходил каждый день в типографию и замирал от страха, глядя на посвящение. Если бы можно было вымарать его без посторонних глаз – я бы не колебался. Но тут я знал, что жест будет замечен. Пушкин узнает о моей трусости, а остальные – о моей осведомленности в деле «Гавриилиады». Эта двойная угроза помогла моей гордости уберечься от постыдного шага. Пушкин расхвалил меня за посвящение, но я-то знаю

– каково оно мне досталось! Я себе отпущение дать не могу. Искушение еще впереди, и оно должно быть настоящим искуплением всех слабостей и врак. Это Александр Сергеевич – встряхнулся как птичка – и полетел, а мой путь дольше и приземленней. Но и основательней. Поэту легко быть птичкой. А старому солдату... В человеке сомневающемся, взвешивающим и оценивающим свои поступки, легкости быть не может. Царское прощение – чужое, оно легче собственного.

Бог всем судья. Я искренне рад, что Пушкин спасся, что он весел и мчится в кибитке через осеннюю грязь в Малинки, к сельским развлечениям и непременно письменному столу.

Глава 11

Пушкин возвращается в столицу. Поэт оправдывается за «Полтаву». Просьба Пушкина содействовать разрешению «Бориса Годунова». Мой черед сказать правду. Пушкин отказывает мне в прощении. Назревает дуэль; я готов драться. Страшная вестъ прекращает поединок. Хлопоты Греча и приглашение Собаньской. Записка Пушкина убивает всякую надежду. Я ищущу его, чтобы дуэлировать. Поэт покинул Петербург. Я прощаю Греча и разделяю с ним мою собственность.

1

Пушкин отсутствовал в столице ровно три месяца. За это время мы обменялись всего парой писем. Пушкин писал мило, но коротко. Ничего о делах, больше о домашних развлечениях Олениных да дорожных впечатлениях. Из имения Олениных в Малинниках он перебрался в Москву. А в конце января Александр Сергеевич вернулся в Петербург. Я перед тем покинул столицу – отправился в свое имение в Карлово – доделывать «Выжигина». Даже при привычке работать в газетной суете с моим главным Романом это не выходило – я постоянно сбивался с верного настроения. Даже статью, отложенную на завтра, бывает, продолжаешь совсем по-другому, что уж говорить о целом романе: иногда у меня даже появляется ощущение, словно он весь собран из лоскутов, как крестьянское одеяло. Тогда целостная картина романа пропадает и остается с тоской поглядывать на стопу исписанных бумаг. Чтобы окинуть взглядом весь труд требовалось время и уединение. Одной горькой пилюлей в этом одиноком пиршестве писателя стала рукопись «Полтавы», которую Пушкин прислал мне после повторной просьбы. Я прочел и был разочарован: Александр Сергеевич написал о том, о чем мы говорили, но по-другому. А в поэтическом произведении интонация порой важнее самих слов. С другой стороны, зная теперь монархические взгляды Пушкина, я должен был до-

гадаться, что Петр станет под его пером героем без изъяна и примером нынешнему царю – и не иначе. Не сказать Пушкину об этом я не мог, а потому по приезде в Санкт-Петербург сразу известил его запиской. Впрочем, мое разочарование в нем не стало больше, а с течением разлуки даже сгладилось – я ждал встречи с радостью. Думая о том, что скажу ему на свидании, я удивился, насколько предвкушаю встречу – так я соскучился по его чернявой и веселой физиономии, остроуму языку и открытому порывистому нраву.

Пушкин приехал ко мне в редакцию днем, пояснив, что вечером он приглашен на бал. Великосветскими приглашениями, как я заметил, он никогда не манкировал.

– Что, ругаться будете? – спросил Александр Сергеевич, глянув на меня, пока я готовился произнести речь. – Чертовски холодно сегодня! – Пушкин прошел к голландской печи и протянул руки, встав ко мне в половину оборота.

Речь не шла. По его позе я понял – он знает все, что я ему могу сказать, и на все у него уже готов ответ. И пока я гадал с чего начать, молчание прервал Пушкин.

– Полагаю, мы неправильно выбрали предмет для наших планов – эта барабанная поэма не годится. Я писал ее быстро, и, если бы понадобилось еще работать – бросил бы. Потому, что вышло – то и вышло, а переделать ее я сам себя заставить не могу, не то что вы или кто другой.

– При всем моем почтении... – начал было я, но Александр Сергеевич меня перебил.

– Вот вы, Фаддей Венедиктович, умеете следовать плану?.. А у меня так не выходит, меня ведет вдохновение, и я куда-то сворачиваю, тянусь... В итоге получаю совсем не то, что начинал. Так вот и с «Полтавой» вышло. Начал с одной мыслью, а закончил с другой. Кстати, мне показалось, что и вас эта участь постигла. Во всяком случае, я иначе представлял ваш роман. То, что я понял из отрывков – это какой-то набор... всего?.. Простите, может быть мое ощущение и неправильное – ведь я не видел всего романа.

– Можно и так судить, – ответил я через паузу. – Каждый найдет там что-то свое. Царю Николаю с Бенкендорфом нечего будет возразить против верноподданнического патриотизма, обильно разлитого в романе. Его воплощает прогрессивный помещик Россиянинов, которому противопоставлен любитель всего польского Гологордовский, помещик феодальный и отсталый. Я написал так, чтобы моя приверженность европейскому просвещению осталась в тени идеи, что мы должны догнать Европу, сохраняя полную от нее независимость. Досталось от меня чиновникам за взяточничество, воспитателям за нерадивость; я приветствую образование для крестьян, реформу государственного управления и за то, чтобы дворяне служили государству. Порок у меня – порождение невежества и праздности, а честный человек, в конце концов, найдет свое достойное место в справедливом миропорядке, во главе которого – просвещение. «Только просвещенный, образованный человек, пишу я, может в пол-

ной мере чувствовать свои обязанности в отношении к другим и уважать все сословия. Просвещенный человек знает, что в благоустроенном государстве каждое звание почтено и столь же нужно, как все струны в инструменте, для общего согласия».

– Хотя бы отменять сословия вы не собираетесь? – спросил Пушкин.

– Но это все не главное, а главное, что я мину под монархию заложил. Она в том, что третье сословие у меня самое важное!

– Опять вы за свое, – с досадой сказал Пушкин, не простив мне, видно, отношения к аристократии. В конце концов – это и мои корни, так что я имею право на мнение.

– Да вы послушайте, Александр Сергеевич. Идея героя безродного, нажившего себе богатство своим умом – вот что главное. Вот образец человека, который обеспечит благополучие России. Я стараюсь выразить, что преодолеть российскую отсталость можно только если превратить купечество в уважаемое сословие. «Скоро, весьма скоро молодые люди станут учиться для того, чтоб быть полезными отечеству, а не для получения аттестатов к штаб-офицерскому чину; что купцы, просвещаясь более и более, не станут переходить в дворянство, но составят почтенное, значащее сословие». Собственно, как это есть в Европе.

– Из плана вашего я вынес другое представление, – сказал Пушкин. – Россия не Европа и Европой ей никогда не

стать... Хотя стремиться, конечно, будет. Петр тоже ведь туда рвался...

– Вижу, что мы остались равно недовольны первым исполнением плана, – заметил я. – Мы многое понимаем по-разному, но, тем не менее, мы все-таки близки. Отрицание революции и рвание к Просвещению – в этом мы схожи.

– Согласен, но впредь мы должны лучше знать планы друг друга, чтобы не увеличивалось наше взаимное разочарование, – сказал Пушкин. – Сам я, признаться, задумал написать историю Пугачевского бунта. Пока еще свежи воспоминания, еще целы архивы. Если царь допустить меня до них...

– А ведь я, Александр Сергеевич, служу в Кронштадте, бывал на тамошнем каторжном дворе и встречал людей из шайки Пугачева.

– Да вы что! Интересно!

– Могу рассказать. Люди эти были уже состарившиеся и, можно сказать, покаявшиеся. С них сняли оковы, и они не высылались на работу. Между ними был один человек замечательный, племянник казака Шелудякова, у которого Пугачев, пришед на Урал, работал на хуторе. Этот племянник одного из первых заговорщиков и зачинщиков бунта обучался грамоте, потому во время мятежа находился в канцелярии Пугачева, часто его видал и пользовался его особенною милостью. В то время, а это был 1809 год, племяннику Шелудякова было лет шестьдесят, он был сед как лунь, но здоров и бодр. С утра до ночи он занимался чтением священных

книг и молитвою в своей каморке, где он помещался один, в удалении от всякого сообщества с каторжниками. Бывший секретарь пугачевской канцелярии не пил водки и не нюхал табаку, следовательно, его трудно было соблазнить, в отличие от других каторжан, которые от стакана водки легко рассказывали о своих прежних подвигах. Иногда я давал ему деньги на свечи, потом подарил несколько священных книг. Бывало, по часу оставался в его каморке, слушая его толкования Ветхого Завета, и наконец, через несколько месяцев приобрел его доверенность. Мало-помалу я стал заводить с ним разговор о пугачевском бунте, и он, как мне кажется, говорил со мною откровенно...

– Очень интересно! – воскликнул Пушкин. – Но, судя по размеру вступления, рассказ ваш будет длинным, а сейчас у меня нет времени слушать, а тем более записывать, а записать надо бы непременно. Я хотел поговорить о предмете, более близком сейчас для меня... Верите ли: в Москве, на балу у Йогеля, я повстречал редкой красоты девушку. Не просто красивую – она поразила меня – а чем, сказать не могу. Ее зовут Наталья Гончарова, она только нынче стала выезжать в свет. Представьте, я до того влюбился, что задумал жениться на ней.

– Поздравляю.

– Не с чем пока, любезный Фаддей Венедиктович. Ее за меня не отдадут. Одна из причин – моя неблагонадежная репутация. Я хочу ее очистить.

– В чем же неблагонадежность? – не понял я.

– В том, что у меня есть запрещенные к публикации вещи. Точнее, одна важная – мой «Годунов». – Пушкин отделился от камина и приблизился ко мне. – Фаддей Венедиктович, мне нужна ваша помощь. Вы из нашей братии человек самый влиятельный – поддержите со своей стороны мое ходатайство.

Я почувствовал вдруг, как мое лицо наливается кровью, и тайная вина лезет наружу.

– Я не могу, Александр Сергеевич, – сказал я.

– Почему?

Тут я и бросился как в прорубь, перебивая внутренний жар.

– Каюсь, Александр Сергеевич, я был тайным рецензентом вашего «Годунова». И теперь другую сторону принять не могу. Говорю вам искренне, надеясь, что моя честность вызовет ответное великодушие! – я протянул руку почти уверенный в том, что Пушкин ее пожмет.

Но Пушкин отшатнулся и стал шарить глазами по комнате, словно ища предмет потяжелее.

– Проявите милосердие, Александр Сергеевич! – сказал я, делая шаг навстречу. – Вы ведь сами недавно искали прощения и получил его. А ведь дворянину прощать легче, чем просить прощения.

– Черт бы вас побрал, Булгарин! – выдохнул наконец Пушкин. – Черт бы и меня побрал, коли б «Годунов» вышел

в свет! Вы негодяй! Да я вас!..

Он заметался по комнате. Мне показалось, что он едва сдерживается, чтобы не броситься в драку.

– Поймите, это не моя воля была.

– Из-за вас моя пьеса... и вы скрывали...

– Прощения не прошу, хочу лишь объяснить, – сказал я, видя, что Пушкин думает только о том, что я был единственным препятствием для его пьесы.

– Я тогда о вас думал. Если бы я дал исключительно хвалебный отзыв, то «Годунова», может быть, и напечатали бы, но потом бы точно запретили и вам были бы еще последствия. В 26-м году ваши «мальчики кровавые в глазах» и «народ безмолвствует» были не ко времени. После семеновской истории о каких мальчиках подумала бы публика?

– Это все равно. Негодяй!

– Успокойтесь! Поймите, я думал прежде всего о вашей судьбе, – повторил я без всякой надежды быть услышанным.

Конечно, я рецензию на «Бориса Годунова» писал не по желанию, а по принуждению Бенкендорфа. И по искреннему мнению считаю, что дурной отзыв был больше в интересах Пушкина, чем хороший. Прочтя пьесу, я исполнился восхищения, но, с другой стороны, увидел, что вещь эта может быть при публикации сразу после бунта опасна для автора. Если бы я изложил все, как думаю, Пушкина могли сослать и подальше Михайловского. В «Годунове» наверное видно: Александр Сергеевич мыслит о коренном преобразо-

вании России. Он пытается, как Карамзин, понять ее развитие с исторической точки зрения. Только Пушкин намекает, что историю страны делают не только цари, но народы – эта идея вряд ли понравилась бы его величеству. К счастью, ему был недосуг, и государь сделал поручение Бенкендорфу, а тот – мне. Я представил пиесу как незначительную и недоработанную. К печати ее запретили. И чем дальше отодвигается ее публикация от 14 декабря – даты семеновской истории, тем для автора безопасней. Рукопись запрещена, но не изъята, зато у Александра Сергеевича голова на плечах...

Пушкин вдруг остановился.

– И все это время вы скрывали... были почти что другом... хлопотали... Дрянь!

– Александр Сергеевич, прошу не забываться!

– К черту, к черту вас! – крикнул Пушкин и выбежал из кабинета, дергая себя за воротничок, словно тот душил его.

Ноги охватила слабость, и я присел. Такими жертвами возводимое здание дружбы рухнуло в один миг. Как я мог думать, что эгоизм автора смягчится от честного признания вины?

А ведь если рассмотреть получше, то и для меня в этой истории с «Годуновым» был риск – а ну как прочел бы Николай пиесу или другому бы другой отзыв заказал – меня бы, в лучшем случае, обвинили в незнании дела. А в худшем – и в укрывательстве вредных мыслей. Тут бы головы не сносить, послали бы в Сибирь еще прежде Кюхельбекера.

Я просидел так четверть часа, вспоминая все, что нас связывало с Пушкиным. Не так много, чтобы дружба таких разных людей продолжалась столь долго – почти полтора года. Александр Сергеевич, безусловно, тянулся ко мне, и дело не только в архиве Рылеева – как я однажды подумал, ведь получив опасную бумагу из архива, он не оставил меня. Но, видимо, удар, который Пушкин получил сегодня по своему самолюбию, выше его сил: оказалось, что издание его пьесы было остановлено пусть и не моей волей, но моим мнением. Получается, что великодушия в нем меньше, чем в царе.

Размышления мои – и надолго – прервал курьер из министерства иностранных дел. Он доставил несколько писем и записку от Родофиникина. Содержание ее вызвало у меня шок и мгновенное оцепенение. Не знаю – сколько я так просидел, верно не очень долго, но мне эти минуты показались краем Вечности. Вдруг в кабинете снова оказался Пушкин. Я не заметил, как он вошел, и слова его сначала не достигали моего слуха и преамбулу я упустил.

– ...оставить невозможно. Итак, я чувствую себя оскорбленным и не смог бы удовлетвориться даже вашими извинениями... даже вашими искренними извинениями! – повторил Пушкин со значительным упором, и тут я стал его не только слышать, но и понимать. – А потому ничто не может меня поколебать: я вызываю вас! И не пытайтесь отделаться от меня шуточками, как вы это проделали с Дельвигом. Я вам не Дельвиг и заставлю вас ответить за подлость!

– Полно вам считаться, Александр Сергеевич, – сказал я. – Грибоедова убили.

– Как?!

Я подал записку Родофиникина, в которой он с прискорбием извещал меня о том, что российский посол Александр Грибоедов убит в Тегеране.

Пушкин порывисто, в своей манере, схватил бумагу и прочел, впиваясь глазами. «Не может быть», – прочел я по его губам. Известие сразило Александра Сергеевича, и он присел рядом со мной, положив руку на плечо. Сделал он это, скорее всего, по забывчивости, случайно, но мне даже такое участие было приятно. Сердце мое разрывалось, хотелось разрыдаться, но горло было перехвачено. Наконец, я отдышался.

– Не могу вам сейчас ответить, – сказал я. – Но, если хотите, я явлюсь к вам в гостиницу завтра чтобы обо всем договориться.

– Забудьте, – пробормотал Пушкин. – И прощайте! – Он вскочил и выбежал из кабинета также стремительно, как и появился в нем.

Больно было невыносимо, и Пушкин, я думаю, чувствовал то же, потому и бежал. Не хватало, чтобы два не первой молодости литератора разрыдались друг перед другом!

Кое-как я пришел в себя и набрался мужества, чтобы позвать Греча.

– Николай Иванович, Грибоедова убили!

Греч читал записку шевеля губами – медленно, по-редакторски.

– Горе-то какое, Фаддей Венедиктович! Прими мои соболезнования. Я знаю, каково это – близких друзей терять. – Греч обнял меня и мягко похлопал по спине. – Я все по редакции сделаю, а ты домой поезжай и завтра пропусти. Если что – сам к тебе наведаюсь. Или, может, на людях тебе полегче будет?..

– Дома тоска – не усую, – сказал я. – Завтра приеду.

– Эх, что за беда! – покачал головой мой первый помощник. – Как же это случиться могло? Как допустили? С ним же казаки, он – посол, личность неприкосновенная... Такого человека загубили. Он бы у нас скоро министром стал, ей Богу!.. Как ты, Фаддей?

– Спасибо, Николай Иванович, ничего. – Я встал, и комната поплыла словно не комната, а театральный задник, нарисованный на холсте и движимый машинерией.

– Давай, я тебя до извозчика провожу.

Николай Иванович подставил мне свое сухое, но крепкое плечо. Я зацепился за него, и комната скоро перестала кружиться. Греч накинул на меня шубу, послал Митьку за извозчиком и довел до крыльца.

– Я дела сделаю – заеду! – крикнул он, когда извозчик тронул повозку.

Дома, узнав, все захлопотали, ходить стали на цыпочках, говорить шепотом, словно покойник был у нас в доме. Меня

это злило, и я заперся в кабинете. Открыл только Гречу. Я немного выпил, но тяжесть не оставляла меня, словно вместо опьянения у меня сразу сделалось похмелье. Был и тяжелый вкус во рту, и болезненное состояние, и угнетенный дух. Я думал как мне отделаться от назойливого визитера, чтобы не ощущать себя тяжелобольным, с которым говорят о погоде и прячут глаза.

Но Николай Иванович ступал твердо, голос не понизил ни на терцию, а разговор затеял о литературе. Само собой – в ход пошел Грибоедов, но не так как можно было полагать: Греч выпросил список «Горе от ума» и стал так уморительно и славно читать его в лицах, что туча в душе развеялась, и я сам стал вторить и даже смеяться. Греч меня спас в ту ночь – мы дочитали пьесу до конца и начали сызнава.

Никакое утешение, наверное, не могло бы облегчить тогда мою участь, а стихи самого Александра Сергеевича легли на сердце и смягчили его горечь. И надпись на рукописи, оставленная рукой автора, уже не жгла. «*«Горе» мое завещаю Булгарину. Верный друг Грибоедов*». Так уж складывается, что друзья оставляют мне завещания, а я их исполняю. Вот и с этим уже начато: часть «Горя» выходила в «Талии». Выйдет и оставшееся. Это я обещал живому, и дух его порадуетса выполненному слову. Аминь.

Непереносимое чувство утраты сменилось тупой болью в сердце, которая отдается всякий раз, когда пытаешься лишь пошевелиться. Все напоминало мне о незабвенном Александре Сергеевиче, всякое дело было противно. Я сидел дома и, кажется, впервые в жизни пребывал в безделье. Обитал в кабинете, читал легковесных французских авторов и изредка принимал посещавшего меня Греча.

После этой ночи Николай Иванович стал мне как-то особенно близок, и я напрочь забыл то, что он доносил фон Фоку. Многое мы делаем не по умыслу, а по надобности, выбирая из двух зол меньшее. Судить человека надобно по тому, в чем он сам волен, а не по вынужденным поступкам. Так я написал рецензию на пушкинова «Бориса Годунова» и множество других записок. Так что ж?.. А Греч все-таки хороший малый, и его добровольная обо мне забота это показывала сполна.

От Пушкина вестей не было.

Спустя некоторое время я неожиданно получил записку от Собаньской. Она писала, что ее не радует то, что наше знакомство было прервано и приглашала к себе на вечер. Приглашение было неожиданным, но я обнаружил, что имя Каролины не вызывает у меня жгучей ненависти и ревности. Я почувствовал, что могу глядеть на нее спокойнее, и мне тут же

захотелось ее увидеть. Может быть, возобновление знакомства прояснит и темную сторону прежних отношений, о которой я остался в неведении. Я так и не знал: какие поступки Каролина совершила по своей воле, а какие вынужденно. А потому и судить ее я не мог. Я подумал, что все еще может разъясниться в пользу Собаньской. Я простил Греча, почему мне не простить Лолину, если она действовала не от своего сердца? Смерть Грибоедова дала мне больше смирения и терпимости к чужим грехам. Кровь перестала бросаться в голову по пустякам. Я не надеялся вернуть Каролину, но готов был понять и примириться. Именно с таким настроением я собирался на вечер к Собаньской. Но перед тем, как сесть в возок, я получил еще одно письмо – от Пушкина. Конверт принес посыльный из гостиницы Демута.

«Про старые дрожжи не говорят трюжды; не радуйся нашед, не плач – потеряв. Сочувствую вашему горю, перенесите его мужественно, как старый солдат. Не мучьте себя воспоминаниями о несделанном – вы, я знаю, были Александру Сергеевичу преданным другом. Вам, верно, теперь не до дел, но все перемелется – мука будет. Видите, кроме поговорок ничего путного сказать не сумею. Питаю надежду, что ваша былая привязанность вернется к вам и поможет справиться с теперешним душевным ненастьем.

Ваш Пушкин».

Лишь в дороге – натрое перечитав записку, – я вдруг понял смысл последней фразы. Меня обдало жаром уязвлен-

ности, и силы покинули меня. Некоторое время я сидел без движения. Пушкин ясно дал мне понять, что приглашение Каролины – это не ее шаг, а выполнение чужой воли – его воли. Медвежья услуга. Что за наглая заботливость? И это его шаг навстречу? Ни один враг не может оскорбить так, как это походя делает друг.

– Степан, к Демуту поезжай! Скорей!

Слуга развернул карету с полдороги, и мы помчались к гостинице.

Кто позволил ему так играть чужими чувствами? Что за бесцеремонное дружелюбие? Он полагает, что по своей воле может отнимать и дарить счастье? Допустим, к женщинам он относится с презрением и ценит только гризеток, но меня он называл другом! Он не только сводничает с тем, чтобы развлечь меня, он еще и не стесняется говорить об этом! Ярость наполнила меня до краев. От таких друзей надо избавляться как от врагов! Моя чаша терпения переполнилась. Столько раз я сдерживался и находил для него слова оправдания. А Пушкин подначивает меня, дразнит словно льва, сидящего в клетке, сплетенной из непреодолимых связей дружбы и восхищения редким талантом. Но тут он перешел всякую границу. Я решился вызвать его и убить.

В гостинице я ринулся в его номер. Дверь оказалась заперта, на стук никто не отзывался, я стал бить сильнее. У кого сегодня в городе бал? А может он поехал к Собаньской? Уже сидит у ног Прекрасной дамы и ждет моих изъявлений

благодарности за сводничество?

На шум прибежал мальчишка-посыльный.

– Его благородие утром съехали!

– Что?

– Уехал барин! – мальчишка махнул рукой, указывая на дорогу.

Тогда я отпрянул от двери, разогнался буйволом и сорвал ее с петель.

Мальчишка заорал блаженным.

Я ввалился в номер, но ничего не увидел в наступивших сумерках.

– Огня! – крикнул я.

Мальчишка опомнился и зажег стоявший на бюро канделябр. Я осветил комнату – верно, уехал, жилище выглядело покинутым. Мне хотелось еще что-нибудь сокрушить, но ничего подходящего на глаза не попало. Я оборотился к бюро, поставил канделябр и увидел там какие-то бумаги. Я перелистнул верхнюю страницу. Под ней лежали черновики писем. Я принялся читать:

«...Вы смеетесь над моим нетерпением, вам как будто доставляет удовольствие обманывать мои ожидания; итак, я увижу вас только завтра – пусть так. Между тем я могу думать только о вас.

...А вы, между тем, по-прежнему прекрасны, так же, как и в день переправы или же на крестинах, когда ваши пальцы коснулись моего лба. Это прикосновение я чувствую до сих

пор – прохладное, влажное. Оно обратило меня в католика. Но вы увянете; эта красота когда-нибудь покатится вниз, как лавина. Ваша душа некоторое время еще продержится среди стольких опавших прелестей – а затем исчезнет, и никогда, быть может, моя душа, ее боязливая рабыня, не встретит ее в беспредельной вечности».

«...Сегодня 9-я годовщина дня, когда я вас увидел в первый раз. Этот день был решающим в моей жизни.

Чем более я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что мое существование неразрывно связано с вашим; я рожден, чтобы любить вас и следовать за вами – всякая другая забота с моей стороны – заблуждение или безрассудство; вдали от вас меня лишь грызет мысль о счастье, которым я не сумел насытиться. Рано или поздно мне придется все бросить и пасть к вашим ногам. Среди моих мрачных сожалений меня прельщает и оживляет одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в Крыму. Там смогу я совершать паломничества, бродить вокруг вашего дома, встречать вас, мельком вас видеть...»



На последней бумаге были стихи:
*Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.*

Каролина теперь жила в Крыму. Я отодвинул последний лист и уперся взглядом в черную доску бюро. В колеблющемся огне свечей она плыла перед глазами, покрылась рябью, превращаясь в бездну без дна. Я отдернул локоть, на который опирался, боясь провалиться в эту тьму.

– Ваше благородие!.. Ваше благородие! – моего плеча коснулась робкая рука. – Вы меня слышите?

Я оглянулся и увидел квартального, прибежавшего на шум.

– Ваше благородие, извольте выйти из помещения! Или меры придется... применять.

– Куда он уехал?

– Куда уехал? – передал кому-то вопрос караульный и также доставил ответ, – на Кавказ, говорят. Пойдемте, ваше

благородие!

Я встал, достал из кармана деньги.

– Тебе, голубчик, за хлопоты. И хозяину дай за дверь.

Где я бродил – не помню. В какой-то момент я почувствовал холод из-за распахнутой шубы, опомнился и нашел дорогу. Домой я вернулся через несколько часов в полном изнеможении.

За это время я потерял надежду примириться с бывшей возлюбленной, не смог выплеснуть на Пушкина всю накопившуюся ярость, а после еще испугался за него же. Там, на Юге, уже погиб один великий поэт, не хватало потерять второго. Личные счеты мерялись с опасностью, которой подвергался Александр Сергеевич. Злость на Пушкина и страх за него смешались в какой-то странный коктейль. От противоположности охвативших меня чувств наступили опустошение и горечь.

Записка Собаньской открыла мне ее чувства, – такое беспрекословное подчинение могло родиться только от великой любви. Она, несомненно, не стремилась меня видеть, но послушалась Пушкина, и пригласила к себе. Как далеко она (и он) намеривались зайти в своей жалости?

А черновики писем Александра Сергеевича выдали мне чувства поэта. Он любил Собаньскую отчаянно, также как я. Разница в том, что я не мог сделать ее счастливой, а он мог. Но не стал этого делать. Может быть, от того ей так хочется на баррикады? Я вспомнил, что он говорил мне про

сходство Каролины с Мнишек, про честолюбие... наверное, в этом есть правда. Но не вся – потому что он не пытался сделать ее счастливой. Он от нее отказался. От женщины, ради которой я, не задумываясь, рискнул свободой и жизнью. Больше я ничего сделать не мог, больше ей было не нужно от меня. А от него, верно, – нужно. А он написал черновик письма, стихи и... уехал на Кавказ.

Вот этого я ему простить не в силах.

От него единственного зависело ее счастье, да и его собственное, а он отверг свое предназначение...

От мыслей, бегающих по заколдованному кругу – от Каролины к Пушкину и обратно, меня снова спас Греч, который, конечно, не знал о приглашении Собаньской, и пришел меня развлечь. Он единственный не оставлял меня во все это время. Лишь в нем я видел дружеское участие и поддержку, на которую оказался неспособен Александр Пушкин. Мне это было столь дорого, что я решил показать это Гречу. Зная, как он тщеславен (это общий грех литераторов, да и не только их), я предложил ему долю в своих журналах, а он в ответ разделил пакет акций «Северной Пчелы», принадлежавший преимущественно ему, в мою пользу. В деньгах я что-то потерял, но мы стали теперь равными партнерами во всем.

Вспомнил я, правда, что обещал Пушкину достать место редактора «Пчелы», да какой теперь в этом прок? С дороги он писем не слал, а я не пытался отыскать его в далеком краю.

Сразу после отъезда Александра Сергеевича, как я слышал, Санкт-Петербург также покинула Каролина-Розалия-Текла Собаньская. Ирония в том, что она, желая или нет, сослужила службу генералу Бенкендорфу. Наша дружба с Пушкиным, которой он, по словам Мордвинова, опасался, оказалась разрушена Лолиной.

Больше я ее никогда не видел.

Не знаю, сумел бы Пушкин помочь мне советом в моей записке, посвященной гласности. Так или иначе – она была отклонена. От имени правительства мне было сказано, что нет таких мелких тем, которые можно было бы безболезненно передать публике для свободного обсуждения. Любые из них будут подрывать самые основы монархического устройства. Здесь мне пришлось отступить.

Но я непрестанно сражался и на других направлениях – несмотря что в одиночку, несмотря, что один против всех. Я не позволял цензуре надевать на меня намордник, как на собаку. Я написал новый цензурный устав 1828 года, и он был либеральнее предыдущего. В том же году все цензоры, получившие мой отрицательный отзыв, были заменены рекомендованными мною кандидатами. Я не похвалялся этим перед Пушкиным, чтоб он не понял превратно мою связь с правительством, но на свой счет эти победы записал.

Что Пушкин – он оставил меня именно в то время, когда должен был встать рядом – плечом к плечу. Пришлось мне одному изворачиваться. Мину мою ни царь, ни Бенкендорф разгадать не сумели. Коли бы сами зубы точили на других литераторах, то и меня бы раскусили. А как понадобилась меня попробовать – так не по зубам кость, а спросить-то не у кого!

Притом роман был авантюрным, так устроенным, что уж кто брался – отложить не мог. Успех был огромный, и он совершенно затмил пушкинскую «Полтаву». Первое издание «Выжигина» разошлось в неделю, и в этом же 1829 году было распродано второе – всего за год около семи тысяч экземпляров. А потом пошел роман гулять по Европе, к 1832 году его перевели на французский, польский, немецкий, шведский, английский, итальянский, голландский и испанский языки. Выпустил я Роман и с тем выполнил положенный себе обет.

Пушкин, не трогая прежде отрывки, выступил против «Выжигина» – без разговора со мной. На этом, я считаю историю нашей дружбы с Александром Сергеевичем Пушкиным оконченной. Но после точки обычно следует эпилог. Есть он и в этом рассказе.

Эпилог

Характер Пушкина – загадка неизъяснимая. Александр Сергеевич с помощью Дельвига создает свою газету и начинает литературную войну со мной. «Литературная Газета» закрыта, и «Пчелка» осталась победителем. Попытки реванша со стороны Пушкина. Последний удар на деньги Смирдина. Провидение спасло меня. Я сжигаю письма Пушкина.

Я много размышлял над характером Пушкина, но так и не постиг его полностью. Какие-то его черты выпуклы и всем очевидны, но они сочетаются и с другими, которые наблюдают только близкие ему люди. Я лишь познакомился с некоторыми из них, а другие, верно, и вовсе не заметил. Потому по прошествии времени вижу, что не могу взять на себя смелость описать этот характер. С той поры личного общения я узнал отзывы людей, с которыми поэт поддерживал отношения перепискою, – и все они толкуют его характер и наклонности совершенно по-разному, словно и говорят о разных людях. Огромный отпечаток наложил на Пушкина его великий талант, которым он распоряжался весьма беспорядочно, но еще больше этот талант мешает нам разглядеть его обладателя.

С отъездом Александра Сергеевича на Кавказ отношения наши прервались, и я не мог уже спросить то, о чем имел

неточные сведения. Так, по рассказу нашего общего знакомого Полторацкого, Пушкин едва не проиграл ему в карты письма Рылеева. Случилось это, якобы так: Полторацкий несколько раз просил у Пушкина писем к нему Рылеева, чтобы списать их. Пушкин все отказывался, обещаясь подарить ему самые письма. Раз за игрою Полторацкий ставил 1000 рублей ассигнациями и предлагал Пушкину против этой суммы поставить письма Рылеева. В первую минуту Пушкин было согласился, но потом опомнился и отказался. Не почище ли это того, как я обошелся с архивом Кондратия? И уж, верно, не такому игроку прощать меня за минутную слабость к любви всей жизни?..

Тяжело пережив гибель Грибоедова, я лишь постепенно вернулся ко всем делам. Осенью 1829 года до меня дошли слухи о хлопотах барона Дельвига, которые были к тому времени в самом разгаре. Он добивался права на издание «Литературной Газеты». Зная, как нескоро даются в России любые разрешения, я понял, что хлопоты эти Пушкин поручил Дельвигу еще перед своим отъездом – без Александра Сергеевича барон бы такого дела не затеял.

Мне трудно сказать, чем руководствовался Пушкин: то ли он решил, что потеря Грибоедова надолго лишила меня возможности работать, то ли считал, что наши взгляды не так близки, то ли вовсе – переменял свои. Может быть, так и не простил мне рецензию на «Бориса Годунова»?

Неприятным было то, что, не объяснившись со мной, он

решил выпускать свою газету. Вот бы смешон я был, коли бы взялся выхлопотать для него места соредактора «Пчелы»! Молча такие дела не делаются, мне кажется. Проявляя редкую щепетильность к чужим словам – вспомнить хоть историю с Великопольским, надо бы и за свои поступки научиться давать объяснения. Понятно, что в газете Дельвига первым сотрудником станет Пушкин, но вторым-то – князь Вяземский! А при таком пасьянсе Булгарину четвертым не бывать. Отводился ли в расчете Пушкина мне более отдаленный номер? Какой-нибудь 16-й? Этого я знать не хочу, потому что простое уважение требует и меня спросить – согласен ли я?.. Не знаю, к чести сказать, на что я способен ради дела. Ведь когда-то я вспыльчив из-за ерунды, а когда-то и терпелив...

Пушкин вернулся из своего военного похода в середине ноября. Мы раскланивались на дистанции, которую никто из нас, как видно, не хотел сокращать. Отношения между нами оставались недоговоренными, а значит, в чем-то двусмысленными. Конец этой двусмысленности положила программа, опубликованная в первом номере «Литературной Газеты», вышедшем в свет 1 января 1830 года. Казалось, я уже ничего не ждал, не надеялся, молчаливо смирился с судьбой, но не следует дразнить раненого льва.

Дельвиг был также издателем альманаха «Северные Цветы» и «Литературная Газета» планировалась в определенном смысле ее восприемником. «Писатели, – было написано в ее

программе, – помещавшие в продолжение шести лет свои произведения в «Северных Цветах», будут постоянно участвовать и в «Литературной Газете». А дальше шло пояснение в скобках: «Разумеется, что гг. издатели журналов, будучи заняты собственными повременными изданиями, не входят в число сотрудников газеты». Ясно, что это указание было обращено именно против меня одного. Я участвовал в альманахах за 1827, 1828 и 1829 годы. И в «ЛГ» приглашают всех прежних сотрудников, кроме меня.

Признаться, я не только разозлился, но и растерялся. Я написал жалкую оправдательную заметку в «Северной Пчеле», по выходе которой только понял, каким смехом это отзовется у пушкинского кружка. Кровь бросилась мне в голову, и я тут же засел за рецензию на «Северные Цветы» за 1830 год. Больше всего досталось перебежчику Сомычу – после того, как я прогнал его из «Северной Пчелы», он переметнулся к Дельвигу и уже успел написать рецензию на «Выжигина». Перепало от меня и барону на орехи, и всем остальным.

Все это были только первые выстрелы затеявшейся после литературной войны между мной и Пушкиным, пересказывать подробности которой мне отвратительно. Достаточно сказать, что он (держа в уме мою рецензию) обвинил меня в ограблении его «Годунова», а я раздраконил его седьмую главу «Евгения Онегина»! Статья была так остра, что император Николай отправил меня на гауптвахту. Литературные споры царь и прежде решал таким приемом, но, например,

в случае моей полемики с Воейковым на гауптвахте оказались мы оба. Видно, Пушкин был прав в том, что Его Величество ему благоволит. Знаю со слов Бенкендорфа, что Николай Павлович выразил заодно пожелание, если возможно, закрыть «Северную Пчелу» насовсем. Александр Христофорович газету перед императором отстоял...

Исход нашего противостояния решила судьба, а не острота пера. Дельвиг совершил ошибку, напечатав эпитафию участникам июльской французской революции и выпуск «Литературной Газеты» был прекращен. Хуже того, вслед за потерей моей дружбы Александра Сергеевича постигла значительно более тяжелая утрата – 14 января 1831 года умер сам барон Дельвиг. Верно, для Пушкина это было то же, что для меня потеря Грибоедова. Может быть – даже более того, ведь Антон Антонович был еще и другом детских лет, и верным оруженосцем, и правой рукой. Наверное, утешению Пушкина послужило то, что он вскоре женился на предмете своих двухгодичных грез – Наталье Гончаровой.

Потеря «Литературной Газеты» оказалась для Пушкина непереносимой. Сначала он стал хлопотать о выпуске новой – «Дневника», но, не добившись, ухватился за моего Греча, в котором дремало, видимо, тщеславие. Николай Иванович сам написал мне в Карлово о претензии Пушкина стать издателем нашего с Гречем журнала «Сын Отечества» или издавать новую газету.

Зная, что Николай Иванович моя правая рука, Пушкин

вознамерился ослабить ее, а после, возможно, и вовсе отсечь. К тому же приобретение опытного журналиста, такого как Греч, могло сильно помочь предприятию неофита, каким поэт был в издательском деле.

Греч же уговаривал меня не упускать Пушкина с его партией, а сначала обезвредить, а после объединить издания в одной газете. Да еще приговаривал – «если я не возьмусь – другой возьмется и напакостит и нам, и Пушкину». И утешал тем, что «Сомов нагадил Пушкину в «Северных Цветах», и они размолвили... Повторяю: Сомов совершенно отринут Пушкиным и никакого участия ни в чем с ним не имеет...». Ну, хоть этого не будет рядом...

Окончательно намерения Пушкина прояснились чуть позже, когда он сделал Гречу последнее предложение. Войдя в коалицию с издателем Смирдиным, Александр Сергеевич опять предлагал Гречу вступить в дело – но какое! Он предложил забрать у меня «Северную Пчелу»! Ровно то, что я когда-то в минуту дружеской слабости пообещал ему – он решил взять сам. Узнав, я перекрестился на образ Пресвятой Марии! Как дальновиден оказался поступок, который также совершен был по дружбе: обмен долями во всех наших с Гречом изданиях. Я тогда потерял в деньгах, но зато привязал Николая Ивановича к себе накрепко – он не мог ничего сделать с «Северною Пчелой» без моего согласия. Если б не это условие... Так Провидение спасло меня за мою доброту!

Пушкин предложил Гречу быть соиздателем, а мою до-

лю взялся выкупить. Понятно, что своих 40 тысяч рублей у него сроду не было, и это предприятие взялся финансировать Смирдин!.. Впрочем, никто, кроме меня и самого Пушкина не знал всей нашей истории полностью. Александр Сергеевич с его славой убедил Александра Филипповича, что в этом есть расчет.

Для Пушкина – это расчет, но основанный на мести. Ему хотелось, конечно, взять надо мною верх. В открытой литературной схватке это не вышло, так он решил победу купить (чужими, правда, деньгами). Видно, Александр Сергеевич не забыл торговли аллигаторовой грушей! Тот урок он крепко запомнил. И теперь-то понял, что все его журнальные затеи ничего не стоят против «Пчелы». Как говорит Греч: добавить к «Пчеле» подписчиков трудно, ибо едва ли есть больше грамотных людей в России! Ни у кого столько читателей нет, и это я их собрал! В одночасье стать редактором самой большой газеты империи – это дорогого стоит. Поболее 40 тысяч ассигнациями. Расчет Пушкина верный, а что вместо Греча он меня выгнать хочет – так для него это справедливо: я же ему место в «Пчеле» обещал, мне и отдавать!..

Горькая усмешка кривит мне губы: Эх, Александр Сергеевич, Александр Сергеевич! А кого бы вы гнали, коли б узнали, кто помогал полиции ловить Кюхельбекера? Но, верно, это не так страшно, как писать рецензию на вашего «Годунова»? Тем более, что у Греча имеется собственная типография! Неужто отложенная публикация вашей пьесы бы-

ла вам важнее дружбы? Важнее Просвещения и наших планов?.. Пьесе теперь опубликована, а вот дружбу восстановить нельзя. Да и о чем тут говорить, если Пушкин готов взять самое дорогое что у журналиста есть – его газету, его дело? И будь я в денежной кабале – могло бы и выйти это коварство.

Ослепление талантом – явление распространенное, таланту публика прощает и простит все. Пусть гений Пушкина сверкает, но в нем нет самой главной грани – умения любить. А для меня такой человек теряет всякое очарование.

P.S. Видимо Александр Сергеевич все-таки чувствовал со своей стороны необходимость объясниться. И вслед за письмами Греча появилось вдруг послание Пушкина. Если в нем было то, что я хотел услышать от бывшего друга, то письмо сильно опоздало. Если ж нет – то деловые предложения мне уже неинтересны. В обоих случаях читать мне письмо не хотелось. Я достал из бюро пачку, в которой были сохранены все письма поэта, накопившиеся за полтора года нашей дружбы. И вместе с последним их все принял камин, жарко горевший в моем доме в Мызе Карлова, близь Дерпта, поздней осенью 1832 года.